



СОЛОВЬИ ПОЮТ
ТОЛЬКО НА РОДИНЕ
Иоланта Сержантова

Иоланта Ариковна Сержантова

СОЛОВЬИ ПОЮТ ТОЛЬКО НА РОДИНЕ

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69873709

SelfPub; 2023

Аннотация

Соловьи поют только на Родине, только мало кто знает об этом. Книга предлагает читателям достоверное описание природы Родины в её мельчайших подробностях, которые ускользают от взгляда жителей городов и скрыты за суетой. Все персонажи являются вымышленными, сходство с реальными событиями и людьми случайно. Рекомендуется для внеклассного чтения.

Содержание

Соловьи поют только на Родине	6
Где-то вдали...	10
Всякому своё...	12
Ящерка выскользнула из-под ног...	14
Дурная примета	16
Саранча	18
Стрекоза	21
Ласточки	24
Других плоше...	26
Осень человеческой судьбы	28
Улитка	32
Сердечная склонность	34
Горизонт судьбы	36
Надежда и надежды	38
Осеннее	40
Неблагодарность	42
Старушка наряжает ёлку...	45
Дубовое	48
Я сам!	51
В ожидании грядущих холодов	54
Прищепка	57
Совсем как человек...	60
Мелодия осени	62

А там уж...	64
Не люблю я осени...	66
Слизень	68
Так всегда...	71
Не для нас	74
Рубль	76
Только и всего	79
Живая душа	83
Нам нужно быть	87
Пейзаж за окном...	90
Крадётся осень...	92
Лагеря, лагеря...	94
Листопад	99
Равновесие	101
Бесконечная мелодия	104
Как и мы...	106
Осенний лес	108
Самое время...	110
Она...	113
В пудре третьего мороза...	115
И больше ничего...	117
Все билеты проданы!	119
Очень жаль	121
Не потому...	127
Краски леса...	129
Неким осенним утром...	131

Служивый	134
Всё сходится...	136
Прогулка	139
Истина в...	142
Вечер середины сентября...	144

Иоланта Сержантова

Соловьи поют только на Родине

Соловьи поют только на Родине

– Ты ещё здесь?!

Он посмотрел на меня с недоумением

– Это неосмотрительно, безрассудно, недальновидно, в конце концов!

– Я тебя не понимаю. – Ответил он и подошёл ближе. – Разве что-то изменилось за это время? Что... кто принудит меня оставить тебя и бежать? Или ты охладел ко мне?

Подобные выяснения отношений всегда тяжелы. В попытке отыскать поддержку на небесах, я поднял глаза, но небо было безоблачным, там не оказалось ни единой, самой маленькой тучки, которую можно было бы призвать в союзники.

– Да пойми, бедовая твоя голова, ты мне более, чем мил, но соловьям положено зимовать в тепле.

– А что, разве ты непустишь меня к себе, когда будет мороз? – Беспечно поинтересовалась птица.

– Сомневаюсь, что тебе захочется сидеть взаперти. – Ре-

ЗОННО ОТВЕТИЛ Я.

Переступая по тонким веткам вишни, как по лесенке, соловей взобрался мне на руку.

– Ничего?

– Да, пожалуйста! – Разрешил я.

– Не больно? – Поинтересовалась птичка, имея в виду острые свои коготки.

– Нет. – Рассмеялся я. – Щекотно немного, а так ничего, хорошо даже. – Знаешь, говорят, что ты скрытный, чураешься людей, и тебя невозможно увидеть.

– Так то людей... – Туманно заметил соловушка и повертел головой, разминая шею. – Обратил внимание, вишня зацвела? – Кивнул он в сторону трёх нежных до прозрачности, белых цветочков. Само дерево давно уж было совершенно раздето, и тут, в первый день осени, такая вот неожиданность.

– Да, видел. Грустно.

– Отчего ж?

– Не вовремя. Ягодам-то, всё одно, не быть. Впустую... как бы.

– Цветение никогда не бывает напрасно! – Не согласился соловей, но тоже очевидно загрустил.

Вздохнув, он переспросил:

– Я хочу быть уверенным, что не совершаю ошибки. Ты

не передумаешь? Я должен лететь?

– Увы. – Кивнул я.

– Ладно. – Согласилась птица, и добавила. – Только учти, я заранее отказываюсь петь в тех краях, и никому не доведётся насладиться моей соловьиной трелью.

Признавая бесспорное право птицы петь лишь там, где её душа не может молчать, осторожным прикосновением я пригладил выбившееся из крыла пёрышко, и прошептал:

– Настоящий соловей поёт только на Родине¹. – И добавил. – Лети смело, и возвращайся. Мы будем тебя ждать.

– Мы? Это ты про него? – Усмехнулся соловей в сторону лягушонка, что сидел у моих ног. Взирая снизу вверх, тот сочувственно прислушивался, да переводил доверчивый взгляд с соловья на меня и обратно.

– Не только. – Улыбнулся я. Все, кто останется здесь, будут думать о тебе и чаять услышать вновь. А ты не отчаивайся. Расскажешь нам после, что там почём².

– Расскажу! – Пообещал соловей.

Наутро даже ветер не тревожил оставшейся на вишне немногой листвы, а три белоснежных цветка, удивляя собой шмелей, всё ещё были на прежнем месте.

¹ соловьи поют во время брачного периода, который у них происходит на Родине

² понимать истинное значение, содержание, смысл чего-либо

– Белым флагом признавшего своё бессилие перед грядущими холодами?

– Отнюдь. Той, незамутнённой сомнениями совестью, что как Родина, которую невозможно потерять.

– По собственному воле?

– Если она есть...

Где-то вдали...

Где-то вдали, последняя в году гроза раз за разом дробно била в барабаны, будто на завтра ей предстояло выступить перед публикой, и теперь она усердствовала, дабы не ударить лицом в грязь... Хотя нечистоты после себя она оставляла, по обыкновению, немало.

Всё, не укрытое черепашим панцирем мостовой, делалось непригодным для прогулок, хотя и привлекало взгляд, ибо сияло, блестело, переливалось в тех лучах, что солнце роняет нечаянно в сумеречный день через прореху облака, но спохватившись скоро, подбирает назад, и дремлет после, как ни в чём не бывало, до следующего погожего дня. А вот когда случится такой день? Как знать, как знать...

Ветер играл помпонами клевера белой шерсти, тянул их из-под носа шмелей и пчёл, что трудились не покладая крыл в виду грядущей затяжной непогоды, набивая кладовые сот, чем только можно и покуда это было возможно. Собранный ими мёд едва ли не бродил уже в самих стенниках³, давая повод бесшабашности овладеть роем вполне, и если бы не дождь, что неслышно ступал по сухой траве, из опасения раз-

³ соты

будить осень, то разбрелись бы уже пчёлки по дальним полянам, так что тому же ветру пришлось бы побегать за ними, загоняя назад в улей.

Бабочки плясали напоследок придворные неспешные танцы. Описывая расписными подолами крыльев полукружия, тревожили перестоявшие, сохнувшие на корню букеты иерусалимского артишока⁴, да неожиданно грузно топали, роняя их оранжевые лепестки.

Каждый новый осенний, как и любой день, непохож на предыдущий. Облюбованная осенью округа как бы сматывает клубок времени назад, возвращаясь к начальной точке, когда всё пусто, а незанятый ничем простор тосклив и безысходен, от того, что нет причины угадывать или сочинять сложности. Всё прямо и просто. Ты или есть, или нет.

⁴ топинамбур, земляная груша

Всякому своё...

Единственный оставшийся, верный дереву кленовый лист сверкает золотом и чудится звездой. Холодное солнце добавляет ему красок, хотя, ежели по чести, мало самому. Не бьётся уже наотмашь по дерзкому взгляду, не перечится пытливному.

– Сильно надо? Ну, гляди, гляди, коли глаз не жаль. – Разрешает солнце, а само взирает рассеяно на облысевшие загодя одуванчики, и на мешаной шерсти, с примесью белого, чертополох, и даже на тот, что не сед, но растрёпан донельзя.

Потерявший душевное равновесие цикорий тоже неубран, обыкновенно расчёсанная его чёлка примята не вовремя сном и не в час пробуждением.

Тут же кузнечик, что дюйм за пядью примеряет путь от осени до зимы.

Черный жук, чернотелка, судя по тому, что крутобока – девица, пригорюнилась, обнявши теплый ещё камень посреди дороги. В чём её печаль, догадаться нетрудно, а помочь, утолить, – то задачливо. Тут бы хотя не избыть ненароком, шагнув неловко.

Тимофеевка сеет подле себя добрым и вечным, что пере-

даст дальше её простое очарование, утвердит право на вездесущность, сродни вечности.

Жаркий намедни ветер заметно поостыл, и не бродят от того боле по полям ветвей калины тучные стада тли, на чьем сладком молоке выросло не одно поколение муравьев и божьих коровок

Бойкие оранжевые черепашки спешат обустроить зимние квартиры. Пусть не просторные, будет довольно и тёплых, ну, а если там ещё когда чаю нальют...

Шмели и пчёлы, не считаясь визитами⁵, летают взад и вперёд по гостям с цветами и без, с забродившим нектаром и залежалой уже, но вполне ещё пригодной, съедобной пылью.

Осень, как не готовься, а всё нежданна. Вот и выходит, что всё у неё на виду, да наспех, второпях, да кое-как.

Кленовый же лист, что вроде золотой звезды на макушке, держится ещё.

– Сколь пробудет там?

– А как получится. Ветер ли, дождь – в помощь осени, но не торопит его покуда никто, некому. Всяк своим занят, всяк своё бережёт...

⁵ соблюдение очерёдности в отношении нанесения визитов

Ящерка выскользнула из-под ног...

Цветёт виноград, тщится успеть сладить за первую неделю осени, чего не удалось с весны. В подмогу ему приставлены ветер, кой с прохладцей ко всему, уставшая до смерти пчела и равнодушный уже шмель.

Закручивая усы низачем, как только ради пущей важности одной, виноград щурится на солнце, что заглянуло «на одну минуту», но задержалось до самого вечера. А как наконец ушло, из-за неприкрытой двери горизонта долго ещё было видно непогашенный свет, и мерцание свечи от переворачиваемых страниц.

Ветер, тот тоже шуршал листьями во тьме, подражая светилу, да всё чаще рвал их, ронял наземь, ибо был неловок и повсегда, и нынче, и уж верно останется эдаким после, на века.

– Отчего это начало осени бабьим летом зовётся?

– Оно от того бабье в эту пору, что раньше не выходило у женского пола оторваться от забот, а теперь и разогнёт когда спину, да оглядится по сторонам. И увидит, что скоро, совсем скоро пауки развешат повсюду свои провода, да станут кататься туда-сюда, взад-вперёд по голубым рельсам воздуха. Успеет застать и паутину ветвей, занавешенную кое-где облаками, послушаться, как мухи бьют осень по носу щелч-

ком, но промахиваясь часто, попадают по стеклу. Налюбуется на овсянок, что играют в салочки, веселятся накануне отлёта.

– Не в пример соловью. Тот грустил.

– Так то соловей...

...Ящерка выскользнула из-под ног в самое мгновение, когда шаг был почти завершён и слилась незримо с тенью промеж камнями. Как чья-то жизнь, что бывает, промелькнёт мимо, оборотишься ей вслед, да только одно затёртое поспешностью движение и застанешь. А коли задумаешься про свою собственную жизнь, то лучше помолчать или засмеяться, так, чтобы не заплакать при всех.

Дурная примета

Оркестровая яма оврага с ракушкой суфлёра – ниша приподнявшегося на корнях дубка на его краю, партер низины, амфитеатр поляны, бенуар пригорка, бельэтаж кустарника, – зал театра леса был полон, включая приставные стулья пней. От того-то белка обустроила своё гнездо на галёрке, откуда ей было видно и происходящее внизу, и далеко впереди, на все четыре стороны, про которые ведают многие, да мало кто видал. Заодно с прочим, сквозь крошечный глазок в небесах, белке оказалось доступно рассмотреть и участь, уготованную тому, про кого не ведала она. Промежду своими хлопотами белка не упускала возможности, да поглядывала мелко в ту сторону, и если хватало духу – подавала знаки тем, у кого был к тому интерес. А уж заметят её или нет, тут, как говорится, дело хозяйское. Коли безоглядно существуешь, может, оно и легче. Тревоги меньше, хватает и тех, что на виду.

Белка прыгала с ветки на ветку, балансируя ярким, пушистым, заметным от того хвостом. Грузные из-за жёсткой, но по-летнему зелёной листвы дубы кичились своею стойкостью и надменно взирали на соседние голые ветки деревьев цвета красного золота. Золотила их вечерняя заря, отблески костра, что, как повелось, запалила она, яркок весьма, жаль,

прогорает скорее, чем успеваешь налюбоваться им.

Ночь простоят деревья тёмными, будто бронзовыми, а утренняя заря окрасит их во что вздумается: и в медное, и в розовое. Редко когда оставит их в истинном своём обличье.

А что касаясь белок... Белки в лесу есть. Как без них. Но обычно они ведут нехитрое хозяйство тихо, от соглядатая бегут, зрителей не ищут. И если вдруг белка, что живёт напротив, принимается стараться не то, чтобы зримо, но даже как бы намеренно, не таясь, – это дурной знак. Сообщение о некоем очередном трагическом событии, потому как у того, кто мастерит для тебя тканый половик бытия, в плетёной занозистой корзинке у ног вновь закончились белые нитки. Остались одни чёрные.

Саранча

Стол осени застелен неизменным гобеленом скатерти с невнятным рисунком, на котором стоит наполненная ржавыми цветами ваза.

– Отцветшими? Увядшими?

– Ржа-вы-ми!

Снегопад доживающих свой короткий век капустниц, порхающие лохмотья сосновой коры, что тщатся заменить собой полёт мотыльков, но увы, им то не по силам, как не годны они лететь помимо ветра. Токмо ему в угодую, под его стать и по его воле.

Мотыльки, что малодушно попрятались по щелям промеж досок дровяного сарая, выглянут ещё, и не раз, да не теперь, в эдакую холодезь⁶.

Жар осеннего солнца не справляется уже с вольностью ветра. А тот, не умея и не желая таить свою надменность, забегает вперёд всякого, идёт наперекор, да становится супротив, не даёт ступить шагу, дует в лицо, пылит. Охолони,

⁶ холод

мол, с кем равняться вздумал... бедолага. Не волен ты надо мной...

Я вышел из дому встретить друга, и почти сразу пожалел, что одет по-летнему. Возвращаться не было времени. Сквозняк осени вырывался из-под неплотно запертой двери горизонта, подступился и принялся наглаживать мои зябнущие плечи своими холодными руками.

Дорожная трава стелилась по земле, и верно именно от того я заметил саранчу, что одна была супротив всему и стойко держалась за песок дороги, дабы не снесло её ветром в тень кювета. Зелёная не по существу, а от усилий, затраченных на то, чтобы удержаться, временами она заваливалась на бок потому, как ветер тщился отнять её от теплой солнечной груди колеи, выдувая из-под неё песок.

Я нагнулся понять, могу ли помочь чем-либо, но саранча лишь блеснула глазами в ответ:

– Не бойсь, прорвёмся! – Да озорно так, весело, что мне тоже стал нипочём этот, взявший на себя чересчур, ветер.

И сделалось враз по-летнему тепло.

Я понимал, что это ненадолго, но любое отвоёванное нечто позволяет себя чувствовать человеком. Даже если ты похожее на кузнечика насекомое, воплощение всеистребляющей алчной силы... Хотя в самом деле это и не так.

Кстати или нет, но в тот же час я был приглашён на свадьбу стрекоз, на посиделки с богомолем и обласканный напоследок милостями от божьей коровки, с приятным чувством отправился спать. Но об этом, наверное, нечего толковать, или уже как-нибудь в другой раз...

Стрекоза

– Вы будете? Приходите непременно!

– Я могу опоздать...

– Мы без вас не начнём!

– Ну, как же это... В такой-то день, свадьба... Раз в жизни...

– Тем более!

Стрекоза не заискивала, и заглядывая в лицо не угодничала, но по причине безмерного счастья и желания, дабы все живущие округ могли разделить с нею радость и получить хотя малую толику своего счастья, разбередить его в себе. Новобрачная зависала надолго напротив глаз, чтобы понять их выражение, – сочиняю я, шучу, насмешничаю или взаправду приду поздравить её в марьяжный на всю катушку день.

– Почту за честь, сударыня! – Успокоил я стрекозу, невысоко приподняв шляпу, и выдохнув с облегчением, стрекоза помчалась приглашать прочих. Времени на то, чтобы распечатать листы, изобилием которых славится всякая осень, не было. Да и умением разобрать написанное мог похвастаться в лесу не каждый А посему...

– Приходите, мы вас ждём! – Слышалось то с одной стороны лесной чащи, что, не без участия ветра, становилась всё реже с каждой минутой, то с другой.

Лис, что на скорую лапу оббегал понавдоль двора, ухмыльнулся моему согласию и непритворной почтительности, да так громко, что аж чихнул, и сбил с бархатной подложки листов чистотела аквамариновые бусины росы, что собирала она с самого вечера, капельку к капле. Да не ради потрафить алчности, но радости ради, – хотела преподнести в важный день стрекозе, одарить подружку, что не чуралась её едкого нрава, но нет-нет, да присаживалась поговорить по душам, как и полагается добрым соседям.

Жизнь бок о бок, она вроде бы и на виду, а из первых-то уст про неё самую слаще слушать, нежели одними догадками свой разум разбавлять.

Сконфуженный, лис счёл за лучшее удалиться. Богомол же, призванный вести церемонию, жевал полными губами воздух, пучил свои базедовы очи в пространство, полный негодования, кой надо было вскорости заменить торжественным чувством, ибо от того, как преподать минуту, как обойтись с нею, зависит само будущее, – надолго ли оно и окажется каково...

А касаето торжества, – всё прошло, как должно. Невеста была в ослепительно красном наряде, жених во фраке апельсинного цвета⁷. . . Ну, а как вы хотите? Стрекозы, как не крутись, а окрутят⁸ друг дружку, тут только не зевай.

⁷ стрекоза кровавая, лат. *Sympetrum sanguineum*

⁸ окрутить – обвенчать, выдать замуж, говорят как и о чете, так и мужчине

Ласточки

Постель была неубрана, скомкана и брошена как бы для стирки. Простынь белого облака свисала с края матраца леса. Зацепившись за прорвавшуюся наружу пружину одиноко стоящей сосны, изломанная беспокойным сном ткань не касалась земли, но тем не менее заметно измаралась самой тенью пасмурного с ночи дня. Чудилось, что не было ещё утра. Запоздало оно, заспалось, либо забыло об своей обязанности будить нечто в округе или её саму.

Серое одеяло громоздилось в углу неба неряшливой серой тучей, а износившийся наперник подушки время от времени вздыхал тоскливо, отпуская на волю из своих прорех собранные за лето пушинки и пёрышки.

Ласточки, что держали в таком беспорядке собственную опочивальню, бестолку метались, едва не сталкиваясь друг с другом, взирали на покидаемый ими край не то, чтобы вовсе без интереса или равнодушно, но даже с некоей плохо сокрытой злостью. Птиц тяготило предстоящее путешествие, навязанное обстоятельствами, которым было невозможно противиться⁹, телесное их устройство, физика, так сказать, требовала пищи, насекомых, которые в холодное время года бес-

⁹ ласточки насекомоядны

пробудно и безмятежно спали. Душа же ласточек жаждала остаться дома, к тому же их пугали, и не без причины, неизбежные в дальней дороге потери. Оглядывая сотоварищей, птицы пытались угадать – которого из них не окажется рядом на обратном пути, кого они видят в последний раз и ... гомонили от того отчаянно, с отчаянием, да не стесняясь никого твердили вслух так, как умели, по-птичьи: «Только бы не мою, не моего, не тех, с которыми связан обещанием делить горе и радость.» А близки они были все: всякая с любимым, каждая с иным, каждый с прочим. Роднили их и родня, и Родина, и общая нелюбовь расставаться с местом, где вывели своих птенцов, а когда-то и сами проклюнулись из хрупких, веснушчатых весёлых колыбелей.

Думаете, чувства – особое право людей, и у птиц, оно не так? Ну-ну... Не задавайтесь. Тот, кто полагает, что он лучше других, не слишком хорош, а иной, который «прочих плоше», не так уж и дурён...

Других плоше...

Постель была неубрана, скомкана и брошена как бы для стирки. Простынь белого облака свисала с края матраца леса. Зацепившись за прорвавшуюся наружу пружину одиноко стоящей сосны, изломанная беспокойным сном ткань не касалась земли, но тем не менее заметно измаралась самой тенью пасмурного с ночи дня. Чудилось, что не было ещё утра. Запоздало оно, заспалось, либо забыло об своей обязанности будить нечто в округе или её саму.

Серое одеяло громоздилось в углу неба неряшливой серой тучей, а износившийся наперник подушки время от времени вздыхал тоскливо, отпуская на волю из своих прорех собранные за лето пушинки и пёрышки.

Ласточки, что держали в таком беспорядке собственную опочивальню, бестолку метались, едва не сталкиваясь друг с другом, взирали на покидаемый ими край не то, чтобы вовсе без интереса или равнодушно, но даже с некоей плохо сокрытой злостью. Птиц тяготило предстоящее путешествие, навязанное обстоятельствами, которым было невозможно противиться¹⁰, телесное их устройство, физика, так сказать, требо-

¹⁰ ласточки насекомоядны

вала пищи, насекомых, которые в холодное время года беспробудно и безмятежно спали. Душа же ласточек жаждала остаться дома, к тому же их пугали, и не без причины, неизбежные в дальней дороге потери. Оглядывая сотоварищей, птицы пытались угадать – которого из них не окажется рядом на обратном пути, кого они видят в последний раз и ... гомонили от того отчаянно, с отчаянием, да не стесняясь никого твердили вслух так, как умели, по-птичьи: «Только бы не мою, не моего, не тех, с которыми связан обещанием делить горе и радость.» А близки они были все: всякая с любимым, каждая с иным, каждый с прочим. Роднили их и родня, и Родина, и общая нелюбовь расставаться с местом, где вывели своих птенцов, а когда-то и сами проклюнулись из хрупких, веснушчатых весёлых колыбелей.

Думаете, чувства – особое право людей, и у птиц, оно не так? Ну-ну... Не задавайтесь. Тот, кто полагает, что он лучше других, не слишком хорош, а иной, который «прочих плоше», не так уж и дурён...

Осень человеческой судьбы

– Ладно, спасибо, что выслушали. Пойду выполнять обязанности бывшего супруга. – Вздохнул мужчина и направился к деревянному, уютному на взгляд со стороны теремку, в котором, на поверку, несть места укромности, удобству и теплу. Точнее – оно не для всех, не для тех, кто, поскрипывая креслом-качалкой, пристроив книгу на укутанные для тепла непременно клетчатым пледом ноги, читает домашним вслух Чехова. Увы, в том тереме бытуют нешуточные страсти или, что вернее, – бедуют люди, мешая счастью своего существования проявиться в полной мере, и не дают насладиться ближним отпущенными земными сутками, сколь бы тех не выпало на их долю.

– Дед, кто это был, я его знаю?

– Виделись не раз, ты позабыл. Я-то помню его ещё мальчишкой, когда не доставая до сидения, он катался к речке на отцовском велосипеде, продев ногу под рамой. Одна штанина была заправлена в коричневый, вялый от частых стирок носок, на другой, будто на бельевой верёвке, красовалась деревянная, потемневшая от воды прищепка.

Глядя на этого паренька, на то, как он искренне вслух радуется травинке, цветку, – любому из простых, доступных

чудес, мимо которых проходят прочие, я прочил ему счастливую будущность.

Было дело, однажды он привёз с рынка заместо здорового голубя, чахлого бойного¹¹, за которого отдал всё, что накопил, откладывая с денег на школьные завтраки. Мужики смеялись тогда над мальчишкой, прогадал, мол, заморыша задорого взял, но он знал, что делает.

Полтора года, не меньше, возился с птицей, выносил гулять по утрам, и выходил-таки! Таким красавцем сделался тот голубок. Взмывая в стойке к облакам, хлопал громко крыльями, будто хлыстом, а после срывался во многие кувырки, едва ли не до самой земли.

Жаль, недолго радовал голубь парнишку. Подстрелили его завистники. Врали, что спутали с ястребом, что повадился таскать цыплят. Да кто ж в такое поверит? Дураков нет.

Так и пошло с тех пор, за что ни возьмётся мальчишка, всё кряду, да как надо, а завистники после то украдут, то уведут, то попортят.

Отслужил парень армию, отучился на доктора, женился, детишки пошли, казалось бы – опустел мешочек с кознями, припасённых на его долю. Ан нет. Пожила молодуха в док-

¹¹ голубь кувыркун

торшах¹² недолго, наскучило ей подле хорошего человека, неинтересно стало честь по чести, да по-честному. Ушла к другому. Позарилась не на ум, либо красоту, а на богатство, и через недолгий срок, когда новый избранник стал дряхлеть не по дням, а по часам, попросилась назад. И не женой, а так, вроде сестры. То в одном ей помочь надобно, то в другом. А наш-то, наш, больно хорош, от того и больно ему, рвёт себе сердце, отказать ни духу не хватает, ни приличия. Вот и носится с бывшей, выслушивает упрёки, да приказы, по поручениям хлопочет, а у самого глаза грустные, несчастные, ходит, ровно побитый пёс. От людей стыдно.

...Осень сладко пахнет зрелыми ягодами помидоров. Накупишь их, бывало, разложишь на газетке понавдоль стены коридора... Соседи по коммунальной квартире жмутся к середине прохода, дабы не подавить, но не ропщут. Им и самим люб сей аромат. Вспоминается дом в деревне, бабушка, пол в горнице, усыпанный такими же ягодами, вялое зудение мух, что рвутся по-цыгански в комнаты и подают голос откуда-то с потолка, стоит только затопить печь...

Но что про осень человеческой судьбы... Чем пахнет она? Солью слёз? Горечью разочарований? Банальностями? Всяк по-разному, по-иному, по-своему...

¹² жена доктора

То было на краю Москвы. В одном из тех мест, где рыхлый мякиш деревенской жизни зачерствел однажды, и на месте многих домов появились немногие бараки, которые после тоже снесли бульдозером и вырыли котлованы для домов повыше. Во дворах таких домов редкий сосед знает ся с соседом, и знает об его существовании лишь по переполоху пятничной ругани промежду супругами, что не утаила ещё ни одна стена.

Улитка

Трамвай улитки скользил по мокрым от росы рельсам травы. Неторопливый его ход из лета в осень давал случай понять всё про минувший обычай, что идёт в пару с благодатной порой, чей самый холод не сравнится с теплом зимы или даже осени.

Оставшееся в прошлом лето было слезливым, вздорным, неприступным. Лес таился под серой вуалью комаров, да не положенный ему срок, а до ясных намёков осени, что не стесняясь в выражениях гнала от себя любые сравнения с прочими временами года. Осень желала иметь подле лишь подobaющее ей по чину. И представлять точно так, – бледный лик прозрачных небес, девичьи штопаные не раз одежды...

Редкие яркие дни само собой и имелись в виду, и прощались, и приветствовались, но токмо подготовленные прежней скромностью. Как торжество, как заслуженный дар.

И тогда уж стряхивалась пыль с золотой парчи нарядов. Добытые из сундуков, заметно слежавшиеся, они были, тем не менее, той красы, что не испортит ни время, ни увядание, ни прореха.

Рубиновые венки хмеля, малахитовые гроздья винограда,

калиновые, ровно коралловые бусы, и россыпи аквамаринов с жемчугами... Богато, однако. Глаз не отвести.

Но только привыкнет взгляд к эдакому великолепию, как следующее же утро оказывалось занавешено дерюгой мглы. И словно не было того давешнего сияния, а пристыженное осенью, голубоглазое небо поменяло свой цвет на невзрачный, угадывающийся едва серый.

И хотя шепчет осень в оправдание себе, набившее оскомину: «Делу – время...», ты сердисься и ищешь радости, невзирая на то.

Трамвай улитки скользит по мокрым от росы рельсам травы. И нет ему дела ни до сумрака, ни до красот. Близорука улитка. Ей бы добраться до зимней квартиры, а больше и не надо ничего.

Сердечная склонность

– Мил человек, скажи, будь ласков, где тут москательная лавка.

Я сделал вид, что не расслышал вопроса, сделал пару шагов и устыдился. Как я могу? Какое имею право обижать человека? Мне не по нраву его небогатый вид и ссадина над губой. Но он явно старался привести себя в божеский вид, расчесав на пробор нестриженные волосья, а из-за пазухи у него выглядывает букет синих полевых цветов, и он явно предназначен той распаренной от мытья полов тётке, что, подоткнув подол, заправляла там порядком. Одно плохо, не далее, как пять минут тому назад, когда я проходил мимо, она лишь по воле случая не облила меня помойной водой, что с размаху слила прямо с порога.

А тут, как на грех, этот мужичок... Видать не на него я взъелся. Как завещал Дюма-отец, ищите женщину? Видимо, так и есть.

Моё самобичевание было прервано самым приятным образом.

– Господин хороший! – Расслышал я обращённые ко мне слова. – Вы уж на меня не сердчайте. Я, часом, вас не обрыз-

гала?

– Да нет, обошлось.

– Мужа ожидала, себя не помнила которую неделю. Думала, опять запил, а он на неприятность нарвался, в столице-то. Голову ему там расшиб извозчик. Насилу в ум вошёл. В больнице.

– И где ж тебя лечили, любезный? – Обратился я к мужику.

– В Голицинской. – Важно ответил тот и победителем глянул на властную, но явно любящую его супругу, что стыдливо прижимала к груди букет васильков.

Откланявшись, я отправился изнурять собственную праздность, а воссоединившаяся наконец чета, судя по всему, к себе на квартиру. Им очевидно наскучило находится вдали друг от друга. Ведь не каждый может разделить с тобой горе, а радость -захочет не всякий. Только тот, в котором ты угадал эту склонность. Как её называют? Вроде сердечной? Кажется, именно так.

Горизонт судьбы

Льдинка луны тает в пруду. Если долго глядеть на неё, то кажется, совсем уже стала водой. Сощуришься для увериться чтоб, ан нет, – моргнёт волна и окажется невредим сглаженный голыш льда. Упрям, упорен, невозмутим... Вечен.

Трава редко бывает сама по себе, но чаще под бременем росы, и склоняется в сторону, что указывает та большую часть дня. В краткий срок, на который солнце с ветром избавляет от её высокомерной воли, травинки буйствуют и растут наперекор пробора тропинок. До закатного только часу, а дольше – ни-ни.

Плотный платок тумана, в который кутает плечи рассвет, бережёт день от сквозняков и простуды, а шёлковый плат тумана на закате, – так только, для форсу, как паутинка чулок и голошейкой при шубе в мороз.

На ткацком станке горизонта солнце плетёт невесомое полотно дымки. Ткань тоньше вздоха, но очевиднее предположения.

Густое от облаков, низкое небо, чудится надвинутым до бровей кепи, из-под которого выбиваются жидковатые уже,

но покуда лишённые нездоровой жёлтой седины кудри дубравы. Лишь щетина сосняка даёт надежду на то, что не всё так грустно, как кажется на первый взгляд.

И будет ещё празднично сиять солнце у воды, и льняные пряди рассвета покажутся яркими чересчур, и сбудутся выпестованные воображением надежды на лучшее, что отчего-то всегда маячит где-то, за одним из туманов, – выдуманных или тех, что в самом деле застыт горизонт судьбы.

Надежда и надежды

Человеку редкой стойкости, цирковой до мозоли на затылке,

воздушной гимнастке

Надежде Провоторовой

Ланта

– Осень подбросила золотой червонец листа под дверь...

– На крыльцо?

– Да.

– Чтобы зачем?

– Потомучто!

Вот это твоё задорное «потомучто!», не разделённое пространством для возможности обдумать ответ, я вспоминаю еже...

– Ежегодно?

– Ежеминутно! Оно полно надежд, это словечко. Уповающий на то, что всё будет, и это «всё» окажется непременно добрым, хорошим, уютным... Как твой взгляд в никуда в минуты страданий и боли... Как мне хотелось обнять тебя тогда, до хруста, дабы раздавить то, что снедает и не даёт жить дальше.

Мы редко видимся. Реже, чем хочется. Не так часто, как могли бы. Бесшабашность и наивность, неискущённость юности, что позволяла быть вместе вне обстоятельств реальных или поджидающих на каждом шагу искушений и сторонних лукавств, истощилась. А по нашей вине или по причине извне... Какая разница.

Знаешь, Надежда, я скучаю по тому мигу, когда мы одновременно, не сговариваясь, огляделись по сторонам и поклонились узким, мягким из-за ковра ступеням музея. Не из почтительности или благоговения. Просто сильно болела спина...

Я тоскую по тебе, Надежда, и по нашим общим надеждам, которые, увы, так и не сбылись.

Осеннее

Осень вдумчиво и неспешно прибирала округу, приготавливая её ко сну. Неслышной поступью ступала она по зелёным тротуарам, шёпотом, не допускающим перечить, приказывала ветру, – где и чем замостить, что оставить так, как есть, на откуп зиме.

По обыкновению всякого благоразумного, осторожного и умудрённого опытом, коих часто кличут с некоторой долей зависти и досады «себе на уме», ибо не каждому дано, осень распорядилась так, как умела она одна, и лишь тем, что знала. А за большее не бралась.

Не морозила, к примеру, осень рек. Лужи обветрить, обметать их узкие губы лихорадкой тонкого льда или воду сделать погуще давешней летней, что просачивается всюду и отовсюду торопится сбежать, – это пожалуйста.

Бывало, зазовёт лето осень в гости, да зазевается, покуда за пирогами с вишней глядит, так после летят не в свой час с тех же вишен враз подурневшие листья, и лопаются под шагом засыпанные ими дорожки сада.

В осень решето дубравы делается всё реже и всё больше солнца наливаются в ямки следов и овражки. Тропинки чу-

дятся точно отлитыми из золота. Только не умалить сей позолоте печати минувшего летнего сумрака и сырости. Поздно спохватилось солнышко.

Подведённые серым осенние облака мнутся тою белокурой красавицей, что не умеет разглядеть в себе прелести, а рядится огненной brunetкой, коих дюжина за пятак в базарный день. Кто б втолковал дурёхе, что хороша, и нет беды в её скромных, простых нарядах. Коли была б умна и усердна. Цены бы ей...

Неблагодарность

Растревоженное туманом солнечных лучей, утро прислушивается к негодованию и досаде, с которыми ворон рывкает в клочья листы неба, исписанные ночью. Неловкость спросонка – причина тому, залитому чернилами от горизонта до горизонта небосводу, а непроливайка луны, стоящая на боку облака – свидетель того же самого. И не вспомнить уже никому и ни за что тех слов, кой вырвались на свободу, улетели в даль беспамятства перелётным птицам вослед.

Чёрная бабочка¹³ хлопчет крылами подле окошка, то ли воспоминанием о лете, то ли пеплом сгоревшей сосны. Павлиний глаз¹⁴ подбирает двусмысленно полы расшитого плаща с шёлковым подбоем цвета грусти и пустоты. Ну и почто? Неужто нечего вспомнить о лете, да хорошо сказать об нём?

Дурное, коли не сильно жалит, и то осыпается просохшим песком с сердца, словно с колен. Крупные куски битой волной ракушки, что прилипают к коже души, также роняют себя однажды, а до поры держатся, и оставляют после морщины следов, и просто – складки морщин.

¹³ Радужница, или Переливница большая, лат. *Apatura iris*

¹⁴ Бабочка дневной павлиний глаз, лат. *Aglais io*, ранее – *Inachis io*

Лето... А может ждут от него многого, больше, чем умеет дать оно? Ну – нагрета делается округа, так что ж с того. Набивший оскомину медовый ветерок разнотравья и впрямь хорош, да только сперва заметен, а после уж его как бы и нет.

– Это вроде, если жинка красавица! Сначала-то видишь то, любишься, сам себе завидуешь, а потом пообвыкнешь и не замечаешь. Другим, со стороны, кажется её краса, но ты уж глядишь не на неё, а всё больше на подгорелую стряпню, да неубранное бельё. Когда и прикрикнешь на неё, об чём раньше и подумать не смел. И ведь не то голос возвысить, – вздохнуть при ней громко не решался! А нынче...

– Вроде того, похоже. Когда который неблагодарный, да беспамятный, тот и не умеет помнить девичьей красы, ради которой некогда был готов жизни лишиться.

– Так некогда. Недосуг в семейной-то круговерти.

– Вот и я говорю – человек существо неблагодарное. Должен он не уставая радоваться тому, что есть, понимая цену, не принимая в том участия своих заслуг.

– Неужто их вовсе нет, заслуг этих?

– А какие, скажи, я сочту!..

Утро, растревоженное туманом солнечных лучей, прислушивалось к разговору, как к ветру, что шепеляво дул сквозь

дыру в заборе. Ему было совершенно всё равно, чей день на-
чат, а кому уже нет. Утро... чего с него взять.

Старушка наряжает ёлку...

Старушка наряжает ёлку... Игрушки достаёт из квадратной картонной коробки с нарисованным на крышке праздничным набором: бутылка Советского шампанского, баночка чёрной икры и косой срез копчёной колбасы. Каждую игрушку держит двумя руками, чтобы не разбить, ибо жалко. Теперь всё больше из пластмассы делают, роняй не хочу. Да разве ж это правильно? Те стеклянные не просто так, к ним надо бережно, нежно, со вниманием, ровно с минутками. Уронишь, будто истратишь понапрасну – рассыплется в мелкую стеклянную крошку, так и будешь после собирать, роняя на осколки слёзы, давить кровь из пальцев и, кроме боли, не о чем будет вспомнить, потешить себя будет нечем.

Старушка наряжает ёлку... Неужто верит ещё в новогоднее чудо или то по привычке, потому что нельзя иначе? Если только для внуков... Ну, а коли их нет, не случилось, то кому? Неужто себе самой?

– Заходите на чай, пирогов напеку... – Из-за двери слышно, как старушка, выглянув на лестничную площадку, робко зазывает кого-то к себе в комнату, что давно уж не видала посторонних. И ставит из последней муки постное тесто, без яиц и молока. Дрожащей рукой шинкует заветрившуюся

четвертушку капусты, обдаёт кипятком. Да не враз. Полный чайник ей давно уж не поднять с плиты. Так, наполняет водой где-то на треть, и поджидая, покуда вскипит, глядит в пыльное окошко кухни слезящимися глазами.

Старушка не любит нечистоты, но когда приходится выгадывать, что ей по силам – вымыться самой или подле, она выбирает самоё себя. Дабы не пристало к ней то, старушечье страшное, что некогда, в явно пригрезившемся детстве, не давало ей обнять как следует деда. Брезговала она им. А теперь вот и сама... дожила.

Коли не обманут и придут к ней на те скромные пироги с капустой, станет поминать про сей невиданный случай, сколь хватит жизни. С благодарностью и умилением от того, что отломили чуток от бескрайнего молодого времени для неё, старухи. Пожалели...

И не опасаясь за то, что её примут за лишившуюся ума, и не пугаясь своего голоса, будет толковать с мышью тёмными вечерами. Та за делом не перечит, знай себе грызёт под подоконником, обустроивается на зиму. Ну что ж, пусть себе. В комнату не полезет, дух пережившего свою немощь кота ещё витает в доме, бережёт старушку от мышьи напасти. А коли по соседству – то ничего.

И вот однажды, мальчишка, детдомовский, что снимал комнату через стенку, зашёл-таки с голодухи к бабусе. Думал

– разом, на раз, перебиться только до стипендии, а пожевал постных пирогов, да и прикипел: и к печёному простому тесту, и к сладкому запаху земляничного мыла, что исходил от старушки, да ко взгляду и голосу её виноватому.

– Знать, повадился к тебе студент... – Завистливо судачили одинокие соседки. – Гляди, отравит, комнату твою себе заберёт.

– Да вроде как внучок он мне теперь... – Сердилась старушка в ответ, но держала в секрете про то, что давно уж отписала парнишке своё жилище.

«Молодой... – Думала она. – Пригодится ему мой подарок. Кто ж ещё пригреет сиротку, если не я...»

Старушка наряжает ёлку. С улыбкой развешивая по веткам стеклянные блестящие игрушки, роняет одну, но вместо того, чтобы сокрушаться, смеётся:

– Ничего, то к счастью, пустяки, новую купим, коли что.

Дубовое

15

Сугроб облака навалился дебелою тушей на верхушку дуба. Он – кряхтеть по-стариковски, а облако ему, грубо: «Ничего, крепкий, выстоишь.» У того-то – сухая крона без листьев, царапает небо куриной лапой ветвей с прошлой осени. Всю весну тщился набраться сил, повсё лето тянул понапрасну жизни многих дождей, но так и не сдюжил, осталась крона неодетой.

Сторонятся того дуба белки, словно чумного, облетают птицы загодя. Да что пернатые – жуки и те гнушаются прилесть, гнус норовит мимо, через губу плюётся в сторону дуба, что долгие года был всех прочих выше и краше. Только вот, видать, пришёл его черёд отойти в тень небыти. Ах, как страшно то, – и самому, и прочим, вприглядку. Нет-нет, да примерит на себя проходящий: и ветхость, и немощь, и другое нечто, что поджидает за всем тем.

Глядел-глядел на такое дело павлиний глаз, ну и рассердился.

– Что ж вы все такие скучные, да прелые?! – Возмутился

он. – Дуб вас от зноя-ветра укрывал, от дождя прятал, деток ваших баюкал, вас самих урезонивал, кормил, а теперь, как стар стал, так и не нужен никому?!

– Разве только леснику на дрова... – Усмехнулся было лось, но не стерпел такого павлиний глаз, сел нахалу на нос, потоптался, а оттуда напрямиком к дубу. Обнял его, сколь смог обхватить, и ну махать крылами, как веером – дурноту с осенью прочь гнать.

Завидев от малого столь большое, не стерпело и солнце в стороне-то стоять, принялось лить-поливать белым светом понавдоль ствола, – ласкает, тешит, да приговаривает:

– Не тушуйся, обойдётся на этот раз, а там, брат, сам знаешь – жизнь такова, ни мне, ни тебе того не миновать.

Слово за слово, отлегло от сердца у дуба, щекотно стало на душе из-за надежд, что не всё ещё, не насовсем, есть времечко, плещется на доньшке, разбудит весеннюю зарю треск лопающихся его почек, распустятся листья букетами. Ибо за зря пропасть – оно запросто, а для поступка растратиться – то и мудрено.

А тут и ветер подоспел, сдёрнул дерзкое облако с дуба, прочь погнал. Вздохнуло дерево, распрямило спину, огляделось вокруг себя... Много подле разных с разными, а тех, которые добрым словом в нелёгкий час... в суете-то не все-

гда и разглядишь. Выйдут они наперёд прочих, сделают, что совесть велит, и в тень. Благодарности не требуют, наград не ждут. Не для того они таковы, просто не могут иначе, и всё.

Я сам!

– Эй, малый. ты чего там возишься? Рыбу что ли удишь, так она здесь не водится!

Вспотевший докрасна парнишка лет пяти не отвечал, но лишь пыхтел, продолжал возить прутиком по луже. Великий для него картуз неумолимо сползал с затылка на нос, что никак не отвлекало его от занятия. Привычным движением мальчонка возвращал головной убор на место, и продолжал свою возню.

– Что, картуз-то братьев или отца? – Спросил я, дабы разговорить-таки мальчика, но тот по-прежнему безмолвствовал, и мне пришлось подойти поближе, чтобы разобраться самому.

Посреди широкой лужи, распластав крылья, лежала стрекоза, таких больших я ещё не видывал. А мальчишка тянулся прутиком до насекомого, но всё не выходило никак: и руки были недостаточно длинны, и прутик довольно короток. Впрочем, бОльший можно было бы раздобыть, но его было бы не так просто удержать.

– Зачем она тебе? – Спросил я мальчика.

Сердито глянув на меня, он шмыгнул носом, и снизошёл-таки до ответа:

– Низачем. Её ветром принесло. Она пыталась взлететь,

но прилипла. Крылья вон какие, а мне мамка запретила ноги мочить, я вчера только болел.

– Так ты её спасаешь, что ли? – Догадался, наконец, я, но парнишка передумал делиться со мной дольше и продолжил удить стрекозу.

– Давай, я её достану, хочешь? – Предложил я.

– Я сам! – Твёрдо ответил мальчик, и тут меня осенило. Подхватив ребёнка подмышки, так что он даже не успел ничего возразить, я зашёл на середину лужи, прямо к самой стрекозе.

– Доставай! – Крикнул я весело. – Сам!

Минутой позже, когда стрекоза обтиралась травой, как купальным полотенцем, мальчишка с ужасом наблюдал за тем, как я выливаю воду из туфель.

– Дяденька... как же так? Вы не простудитесь? А мамка вас не заругает?

– Я тут рядом, недалеко живу, не успею, надеюсь, а что про мамку... Не заругает. Далеко моя мамка. – Мне не хотелось расстраивать складный мир парнишки, в котором были мать, отец и наверняка – даже старший брат.

Спасённая стрекоза довольно скоро обсохла, поднялась в воздух и пролетела мимо нас без очевидного намерения поблагодарить. Оно получилось как бы само собой. Тень стрекозы долго ещё была видна над дорогой, или нам с парниш-

кой казалось, что это так.

Участие в судьбе крылатой козявки сблизило нас. Мне было жаль, что это ненадолго, и он сейчас уйдёт в свою детскую жизнь, полную недетскими волнениями, а я останусь один на один с мокрыми туфлями и простудой, что неминуемо настигнет ближе к полуночи.

Решив не поддаваться минутной слабости, я протянул руку малышу, как взрослому:

– Ну, давай прощаться. Тебе пора, а то мамка заругает.

– Она зазря не ругается. – Возразил мальчишка и добавил, – А пойдёте к нам. Мы вдвоём живём, мама у меня хорошая, да и печка уже натоплена, быстрее обсохнете. Пошлите, а?

Не пойму отчего, но я не дал себе времени подумать и... согласился:

– Побежали тогда скорее. – Поторопил я мальчика.

– Наперегонки?!

– Да хоть взапуски! Как угодно! Я-таки уже довольно сильно продрог.

В ожидании грядущих холодов

Туя глянула лукаво в глаза осени и попросила, как это делают обыкновенно цыганки, позолотить ручку. Ну и не смогла ей отказать осень! Так не так, а многие напасти, кой напрогочит цыганка, могут и сбыться. Ну не лучше ли поостеречься, да выдать ей испрошенное, тем паче, – мало на то потрачено: отогнать чуть подальше солнышко, да приказать ему раньше лечь и позже встать. Только-то! И будет всем счастье...

Лягушонок сидел на пороге и смотрел на паука, что вплетал нитку паутины в льняную прядь солнечного луча. Улитки, что громко чавкали в ночи, теперь дремали вполглаза. Слизни, чей оглушительный топот был слышен до самого рассвета, из-за чего даже филину делалось не по себе, грелись, изредка, но неожиданно шустро для своего звания, переменили положение.

Оса, оставив труды, лакомилась каплями смолы, провозглашая тост за тостом во здравие сосны.

Вишня прятала под редкой вуалеткой ветвей лукавый янтарный взгляд. Она много могла бы поведать про то, как провела лето, но промолчит, ибо другим верно известно про те-

бя лишь то, что ты сам о себе расскажешь, довольно и того того, что присочинят. Молва, она сама об себе позаботится.

В ожидании грядущих холодов, стволы впиваются корнями в землю.

Сухим песком течёт с дерев листва... Рыжая, нездоровая седина сосны падает неслышно к ногам, и ветер явственно шелестит в левое ухо : «Верни-и-ись...»

– Кому это он?

– Кто его знает...

Едва дождавшись, покуда вечерняя заря доиграет зорю, расположившись поудобнее в раковине, нежной и хрупкой, как чайная пара костяного фарфора, улитка вновь принимается громко грызть ночь.

Ветер, которому наконец наскучило шептать, принимается за шалости, и после уж не надо гадать – кто это опрокинул на небо полный сумрака ковш большой медведицы, а слизень, который не любит непорядка тут же берётся мять ту темноту, будто тесто, дабы не вышло выше края утра.

Утром тропинки сада оказались усыпаны сплошь золотыми листьями туи, похожими на пёрышки, теми, что давеча просила у осени... Отчего же она оставила те дары? Позабы-

ла или нарочно? А спросишь – промолчит и она.

Прищепка

– Любое дело, что приносит выгоду, это, конечно, не без лукавого. Хотя я по-прежнему убежден, что человек стал человеком благодаря торговле.

– А я уверена, что человек стал человеком, когда нашёл-таки в себе силы

поднять голову от грязи под ногами, чтобы посмотреть на звёзды!

Из частной беседы автора с читателем

Синица пыталась прищепку, терзала её, уговаривая лететь за собой в лес. Сулила ей свободу, кой та была лишена с малолетства. Увещевала и уговаривала, мол, как зацепили её, молодую, да белую на бельевую верёвку, так и висит она там в дождь, в снег на сквозняке и солнцепёке без отдыха, без собственной воли.

– Глянь, как потемнела ты, подурнела лицом и статью! Эх, кабы другую тебе судьбу...

Слушала прищепка синицу, сцепив зубы и молча шурилась на неё супротив. Думала она про своё житьё, да судила не так, как птаха близкая и недалёкая.

Бывало, вынесет хозяйка таз с бельишком, и сама взопреет, так что пар с неё идёт, и с тряпок льёт дождём, – сил маловато отжать воду досуха. Накинет женщина на верёвку-то вещицу, как сможет, разглядит каждую, отойдёт поглядеть, и ну качать головой, вздыхать горестно и досадливо, незрячему видно, что не слишком довольна она, а куда деваться.

Старенькое всё, не угадать уже, где какой цвет, который где цветочек. Было б пореже с постирушкой затеваться, может и продержались бы тряпки те подольше, а и на пыльном-залежалом несладко-то спится.

Пока прищепит каждую вещицу хозяйка, бельё из горячего холодным делается. Неловкими от работы с малолетства руками оно не враз выходит, когда и стрельнёт в кустарник прищепочка. Тут уж хозяйка с кряхтеньем в траву – искать. Все пальцы, бывало, исколет о сучки, а не бросает искать беглянку, а как отыщется, – уж и оботрёт, и водицей промоет, и подышит на неё, пестует, будто цыплёнка.

И за такое к ним внимание, прищепки жаловали свою хозяйку. Уж как не просил когда ветер отдать ему бельишко, всякий раз ему было отказано в том наотрез:

– Не для того стирано, чтобы ты выпачкал, в песок или лужу обронил. Нам доверено, нам дозволено, нам и ответ держать, дабы просушилось всё, цветочным сладким духом пропиталось.

Ну и образумится ветер, подсобить берётся: потрясает тряпками, как флажками, но чтобы отнять – больше ни-ни, он, ветер, тоже понятие имеет, что почём и кто чего стоит. Чьё слово верное, а который на откуп ветру-то его и отдаёт.

...Пыталась синица прищепку, на свою сторону звала. Ты ж, говорила, как мы, птицы, над землёй паришь!

Слышала прищепка птицу, да не слушала, несмотря на нежный, да лукавый посвист синицы, что, будь прищепка послабже характером, не дал бы простору собственным её думкам.

Таки не сдалась прищепка напору птичьему, не дала разжать-разнежить себя, ибо парение её без той бельевой, да без измятых стиркой рук... Чего бы оно стоило? Упала бы в кусты та прищепка, только и всего.

Это как человек без Родины, – держит его она, да не сковывает, поручает заботу об себе, даёт почувствовать, что нуждается в нём, а заодно и сил – парить над тщетностью. Сполна...

Совсем как человек...

– Что-то день так быстро прошёл, вам не кажется?

– Да что день, жизнь пробегает, запыхавшись, не успеваешь её разглядеть в лицо, – какова она, почувствовать аромат её дыхания...

– Один лишь ужас от последнего вздоха мерещится во всём.

– Так и есть... Но нынче, это что-то особенное. Обычно, когда дел много переделано, время тянется, а сегодня раз и нету дня. Суматоха его слопала.

– Суета...

– Она самая.

Не умея сойти со своего места в самом деле, лес, всё же, уходит осенью. Расступается на стороны, делая тропинки шире, и как бы стаивает, но не враз, а постепенно машет крылами листьев вслед изорванным ветром облакам и птичьему ровному строю.

Порхающие его листы похожи на бабочек, только те сливаются с мерцающими в последнем жару волнами воздуха, а эти... Роняют себя в глазах, на глазах, кидаются в ноги, да ничего уж поделать нельзя. Не вернуть. Ни дня, ни жизни, ни на ветви листву.

– Знакомо ли вам чувство, когда поутру, разглядев змею, что скользит по росе, хочется бежать не прочь от неё, но за нею, дабы разведать, – куда она и зачем.

– Нет, я бы поостерёгся!

– А я вот давеча вышел на крыльцо, вся трава в росе, ровно в инее, а по ней, будто по воде вилась прочь гадюка.

– И как не страшно вам сделалось!

– Подумайте, напротив, и сам себе удивлён. Змея стекала в лужу тени неспешно, а в устремлении своём была столь сосредоточена, что, казалось, не обратила на меня никакого внимания. И я сделал несколько шагов за нею...

– Так что же? Куда она намеревалась уйти?

– Увы. Я так и не узнал, Усовестился подглядывать дольше. Как бы снизошла она ко мне, не давала понять, что заметила слезку, хотя вряд. А я... как тать, эдак надо полагать?

– Да, ладно! Что это вы человечьими мерками к этакому пустячному и нежелательному во всех смыслах существу!

– А для них может мы с вами таковы, не думали?

– Вот ещё! Нет, конечно!

– Ну, оно и понятно. Начитавшись-то вздора...

...Неровный, поросший лесом горизонт, будто изгрызенный край чашки. Режутся зубки у нового дня. И он каждый раз новый: рождается, уходит, совсем как человек, – всякий раз новый, и тот же самый, каждый раз.

Мелодия осени

От дыхания осенней ночи исходит мягкий медовый аромат. Словно бы округа, напитавшись духом разнотравья летней порой, теперь делится им, и охотно. Тихие вздохи облегчения несут в себе сладость завершённых трудов и ожидание новых, ведь именно в них – счастье, придающее смысл повседневности. Тщательно стирая следы тщеты, забывается до часу её неотвратимость, а предрасположенность к ней же кажется некоей условностью, кой имеется в виду, да сбывается не всякий раз, и далеко не с каждым.

– Ну уж, верно, не со мной! – Думается так. Ну, или не думается вовсе.

Обмакнув неровный обветрившийся ломоть месяца в болото, ночь поджидает, покуда он немного размокнет. Каравай-то луны съеден уже почти, вон, небо всё в крошках звёзд. И кажется,– ночь давно сыта, да негоже оставлять так, или вставать из-за стола, если наготовлено всего, обидишь хозяйку, кем бы она ни была.

Кстати, некстати расцветшая вишня светится в темноте не хуже неоткрытого никем созвездия.

Под ногами мокро, и от того с сожалением вспоминаются галоши, и как ребёнком отказывался надеть их, рыдая вовсе

не из каприза, а страдая неподдельно. Но из-за чего рвало сердце то пустячное страдание? Теперь уж не вспомнить, да и тогда было не понять, а вот нынче... пригодились бы галошки. Наверняка.

Подсвечивая себе тихой лампадою солнца, от горизонта к облакам, поднимается по хрустальным ступеням небес день.

Благодаря тому, не ускользнёт от взгляда свежесть и нарядность округи. Гусли пригорка в струнах паутин, натянутых на колкие, золочёные колкиИ травы, звенят неслышно, — то ветер, в настроении, который редко бывает у него, подбирает нежную мелодию, что была бы впору именно этому осеннему дню.

А там уж...

– Погляди, на что похоже!

– Овчина? Каракуль?

– Что-то ты всё по скорью¹⁶! То небо в мелких кудельках.

Будто закрученные на папильотках кудряшки. Как у девиц.

– А сами бумажки где?

– Видишь, треугольными лоскутами листья лип и берёз?

Вот, это они и есть.

Там же, среди листвы, на дороге, на самом виду – витая лента расплющенного чьей-то поспешностью ужа. Да столь малого, что хватило бы разве что на пинетку дитятка, которому посчастливилось ползать по мягкому ковру, а не по глиняному или дощатому занозистому полу.

Божьи коровки чудятся эмалевыми яркими пуговками на зелёных ещё, потёртых на сгибах локтей сюртуков листвы. Пришитые чёрным шёлком ножек, оторвутся вот-вот, стоит только солнышку отвернуться за чем-нибудь и перестать греть.

Выставлены напоказ роскошные броши нарисованных

¹⁶ кожа, в скорняжном деле

будто, зависших в воздухе стрекоз, чьи прозрачные крылья заподлицо с бледным небом. Самоцветы жуков прямо так, россыпью на выцветшей шерсти полян, всю в дырах нор полёвок.

Распущенная шнуровка разношенных туфель пригорка брошена на виду летом, а осени недосуг заниматься им. Землеройка, та, что с напёрсток, и чья ненасытность вмещает в себя один-единственный год, пыталась, впрочем, привести ту обувь в приличный вид. Сочинив из травы шнурки, продела их в отверстия многих собственных нор, но вот затянуть... не хватило у неё силёнок. Так и уйдёт пригорок в зиму неприбранным.

Холостой колосок тимофеевки ползёт гусеничкой по ветру, супротив земли. Из лета в осень, из осени в зиму, где поспит под снегом, сколь положено, а там уж и весна...

Не люблю я осени...

Осень стришет заросший за лето лес. Первым делом укорачивает чубчик, дабы было видно голубые глаза неба.

– Эк ты выгорел на солнце! – Улыбается осень, а лес, что казался себе уже не годным никуда, подхватывают эту осеннюю шутку с радостью, которой уже от себя и не ждал:

– Правда? Выгорел? Я уж думал, что лысею...

– Зачем мне сочинять?! Если я говорю, что выгорел, значит, так и есть. А касаясь того, что лысеешь... Ну, да, редеет твоя шевелюра, так и что?! Весной отрастут новые, ещё успеет надоесть, когда натрудишь шею-то своими локонами...

Лес соловееет и от неожиданной ласки, и от посулов, и от прикосновений. Пережжённые перманентом солнечного жара кудри падают к ногам, прикрывая залысины полян, проборы тропинок, скамьи поваленных стволов и замшелые ступля пней, – с прислоном¹⁷ и без.

Обрывки паутины взмывают вверх одна за одной, вслед солнечному ветру и путаются под крыльями бабочек, что раззучивают бальные па напоследок, дабы снились им они по-

¹⁷ спинка стула

сле, по всё время зимних наяву снов, и чтобы не позабыть про то, как вернее всего обратить на себя внимание.

Осенние сумерки не любят опаздывать, они повсегда чересчур точны и даже немного больше, и каждый следующий день приходят чуть раньше назначенного часу, дабы никто не мог обвинить их в неаккуратности. И луна при свете вечерней зари кажется ненастоящей от того, что смущена больше обыкновенного...

– Не люблю я осени...

– Думаю, это взаимно! Послушай, мне тут рифма взошла на ум:

Расколотым случайно фонарем, луна светила ночью, буд-то днем!

– Какие глупости! Пойдём-ка лучше в дом. Сыро.

Люди шли, шаркая опавшей за день листвой, что мешалась под ногами одного, а другого радовала, отвлекая от грустных дум, и они оба не то, чтоб не подозревали, чьих это рук дело, но даже не задумывались про то, что это осень стригла шевелюру леса, да не успела прибрать за собой, а ветер, неизменный её помощник, был покуда занят чем-то другим.

Слизень

– Ой, простите, пожалуйста! – Мне пришлось подскокил в воздухе, дабы не раздавить слизня, который преодолевал ту же самую тропу, что и я, только вышел затемно, на рассвете, намного раньше.

Утро, которое свело нас в одно время и на одном пути, словно бы ещё дремало и не вполне очистилось от остатков сумерек, как свежее яичко от скорлупы. Приставшие к небу ошметки облаков, жиденький белок воздуха, бледный желток солнца... Я явно был голоден и намеревался поскорее добраться до берега реки, где собирался перекусить, пока ещё было возможно расположиться с удобством в тёплом кресле пня, лицом к торопкой воде, что несла с собой мимо предьявить кому-то незримо: и свернувшуюся неопрятную пену сероватых туч, с застрявшим в них сором ссорящихся не по делу воронов, и карточку свершившегося за горизонтом рассвета.

Итак, слизень. Едва не наступив на него, я-таки подпрыгнул и хлеб – важная часть моей трапезы, почти выпал из кармана, но благоразумно вернулся к собственным солёным крошкам и придавленному второпях панцирю сваренного вкрутую яйца.

Обрадованный собственной, чуть ли не цирковой расторопностью и даже отчасти гордый собой, предвкушая поджидающие меня удовольствия от нехитрой закуски в виду немудрёного и вместе с тем прелестного нерукотворного пейзажа, я продолжил было путь, но догадка, притесняемая совестью, заставила сперва остановиться, а после и вовсе – вернуться к слизи.

Лишённая панциря беззащитная улитка поприветствовала меня, как старого знакомого, не отвлекаясь от занятий. Янтарные её, прозрачные почти усики с умными глазками, милое личико, стройный стан в облегающем чёрном платье, – её образ был совершенен, как любое, чего не касалась фантазия человека. И мне представилось вдруг, что пройди мимо кто другой, то от слизи вскоре осталось бы одно лишь мокрое место. Но не потому, что он показался бы опасной помехой, а просто так. По причине, растолковать которую было бы невозможно, да и кто бы стал доискиваться её, в самом-то деле.

Надо ли сомневаться, что я тут же, позабыв о голоде и намалёванных природой акварелях, принялся хлопотать. Неловко воспользовавшись сухими ветками чертополоха, я отставил их, и поклонившись кусту калины, позаимствовал у него один листок, в который запеленал съёжившегося из опасения слизи, дабы перенести в более безопасное место.

Туда, куда не пойдут даже те, кому не важна собственная жизнь, не то чужая.

Когда я добрался, наконец, до реки, позолота солнца давно уж сползла с её берегов. Но мне было довольно и того, что я знал и помнил о всегдашней их красе, как я надеялся, слизень будет помнить то, как с ним некогда обошёлся странный тип, от рук которого сладко пахло густо посоленным хлебом.

Так всегда...

Вышел я как-то раз из дому в ночь. Поглядеть на месяц, что был словно расколотый с завидным постоянством фонарь луны, кой сиял, перепутав день с его тенью, и светлым утром, и неясным в сумерках вечером. Звёзды, готовые в любую минуту уступить место туману, либо облакам, в этот час были заметны и мерцали тем неуверенным в себе осенним светом, который отличает небо этого времени года ото всех прочих. Робел небосвод. И под взглядом, и из-за сквозняка, что шёл от земли.

Стоял я тихо, вдыхая звуки и прислушиваясь к запахам. В двух шагах от меня шумно укладывался спать ёж. Одеяло листвы казалось ему то слишком тонким, то чересчур пышным. Добродушный от и до, он неумело бормотал проклятия, фыркал, сдерживая смущение, из-за чего замешательство его усугублялось, доводя дело едва ли не до простуды. Так чудилось, ибо ёж время от времени чихал.

Недовольный вознёй соседа, неподалёку пытался уснуть олень. Он тепло вздыхал, прятал голову промежду колен, стараясь заглушить сторонние звуки и дремал, раскачиваясь едва заметно, в такт усилиям кабана, что пачкал резиновый нос землёй, откапывая луковицы первоцветов, да не таясь ломал кусты.

Всё округ было привычно и знакомо. Лес жил размеренной жизнью. Рассудительный и обстоятельный, он придавал спокойствия и уверенности в том, что наступив на подол дня, прожив его весь, можно набраться смелости и предположить: утро не принесёт ничего нового или причины, которая заставила бы страдать.

Впрочем, всякий раз отыщется нечто или некто чувствительнее, тоньше прочих. В этот вечер, напугавшись чего-то, встревожился филин. Он с рождения был нервен и часто пользовался нашим гостеприимством, как мы – его, когда, манкируя дневным сном, ему выпадало сопровождать нас на прогулках.

Теперь же филин охнул едва ли не над ухом и пролетел, проведя невольно крылом по волосам, после же, как присел слёту на ветку вишни, вздохнул так тяжело, что облетели с той ветки последние её листы.

– Мало тебе, что с июля вишня неодета, так ты вообще её обездолить решил и лишил последнего! – Попытался усовестить я неловкую с перепугу птицу, а та не стала перечить, но согласилась покорно и виновато.

Не ожидая, что внушение подействует столь скоро, вместо того, чтобы разлиться соловьём, нагромождая поучение

на увещевание, я стушевался сам и принялся успокаивать филина:

– Ну, что ты, о чём? С чего растревожился? Почудилось нечто?

– Угу...

– Страшное?

– Угу.

– Хочешь, отправляйся опять на чердак, там и ужин, и не обидит никто.

– Угу! – Обрадовался филин, и спланировал к приоткрытому нарочно для него окошку на крыше. Не мешкая, не мешая осторожности распорядиться собой на её усмотрение.

Вот, так всегда. Стоит только, скрипнув порогом, выйти в темноту...

Не для нас

Паутина переливалась на солнце, подражая изнанке перламутровой раковины, что идёт на шкатулки, да на пуговицы, на гребни да на тыльную сторону дамских изысканных зеркал, для тех девиц, что не могут потратиться на серебряные оклады и драгоценные обрамления.

В тени паучьей сети было видно как прильнул павлиний глаз к трёфовому листу чистотела, что и сам рос, приникши к стану юного куста калины. Разомлела, задремала бабочка. Солнце трогало её крылышки через шёлковый платок паутины, дабы не ожечь. Волосок к волоску приглаживало, чешуйку к чешуйке прилаживало. Божья коровка глядела на то с ладошки калины, да посмеивалась без насмешки, с мягкостью, с состраданием, ибо ей ещё не раз и зиму перезимовать, и весну встретить, а у бабочки – на всё про всё пара зим, а после не то неге – самой жизни конец.

—

Может, прелести ей от того отмерено столь, на её долю, дабы успела покрасоваться, в пиру и миру, на людях и сама перед собою. – Думает божья коровка. А, может, и дела ей нет до той бабочки, что метёт подолом крыл по цветкам, живёт на всём готовом, хозяйства не держит, тли не доит, не пасёт.

А тут и зелёный дятел, кой не так наивен и прост, как жучок коровки. Стрижёт небо полукруглыми ножницами, да хохочет. И нет сил ему удержаться, да и причины таиться от кого, – ему ж всё одно, что лето, что осень.

Жуки, бабочки, птицы... Не досчитались кого? Кузнечиков! Замерли они сором промеж пыли и листвы, прыгают лягушатами из-под ног. По всему видать – быть осени, а хорошо то или нет, – куда деваться. Так повелось. Затеялось не нами, и, как видно, не для нас.

Рубль

Дом моего детства был старым. Разумеется, не старше Москвы, но всё же. Два подъезда вели в здание красного кирпича, чьи острые углы обметало песком, что несут с собой пыльные бури времён, сглаживая неровности и характеры, сметая наносное, выравнивая им щели, обнажают гладкую, без прикрас, суть вещей и людское нутро. Ведь именно она, сущность, самость и есть то, что отличает одно от другого, при всей поверхностной сущей схожести.

На первом этаже дома жил нестарый ещё дед, прозванный по отцу Петровичем, своего имени дед заметно не жаловал, при знакомстве представлялся исключительно по отчеству, тем и радовал, – краткостью и спокойствием, нравом покладистым и строгим в тот же час. Строгость в нём залегла, вероятно, после, как ногу потерял. Двухногим-то я Петровича по малолетству не помнил, соседки сказывали – тот ещё был мужик, ходок. По-моему, по-пацански, оно выходило, что Петрович ходил много, от того и ногу стёр, а про что соседки судачили, мне неизвестно.

После десятилетки я пошёл в техническое училище, и когда бы не проходил мимо окна Петровича, тот сидел с папироской в зубах и что-то мастерил. Казалось, коли дым перестанет клубиться, дед замрёт на месте, как паровоз, у кото-

рого истратился уголь для топки. Но дым всё вился из окошка, но подавая повода думать, что это может закончиться когда-нибудь.

Как-то раз мне вздумалось занять у Петровича денег. Причины уже не вспомню, но было надо. Поглядев на меня серьёзно, дед нахмурился и покачал головой:

– На курице не дам.

И лишь уверившись, что мне не для того, достал из глубокого кармана бумажный рубль. С того дня я частенько пользовался карманом Петровича, но и возвращал исправно.

И вот однажды вечером, подходя к подъезду с намерением вернуть Петровичу долг, я не почувствовал крепкого духа самосада, но лишь застарелый, прогорклый от курицы воздух, что проходил бочком через приоткрытое окошко его кухни.

Петрович сидел, облокотившись на единственное колено, словно задремавший на облучке ямщик.

– Петрович... Петрович! – Позвал я его негромко.

– Ась!? – Вздрыгнул в мою сторону дед.

– Можно к тебе?

– Заходи.

– Дед, а как тебя зовут-то? – Спросил я, протягивая рубль. – Ты прости, занимал бумажный, отдаю монеткой.

– То ничего, ты не отдавай, помянешь меня тем рублём. Теперь уж они мне ни к чему, деньги-то. Прокурил я и ногу, и жизнь. А величать меня по-бабски, Ефросинием, от того и жинка меня бросила. Всё одно прознают, не скроешь.

– Ну и чего? – Удивился я. – Хорошее имя...

– Бабкино. – Сурово отозвался дед и вскинулся с табурета, будто позабыл, что одноног. Я подхватит Петровича, чтоб не упал, а тот усмехнулся так жалостливо и добавил, – Знаешь, старый я с виду, а возраста не чую. Всё, будто пацан.

Вскорости не стало соседа, не проснулся однажды. Соседки вздыхали завистливо, мол, – лёгкая смерть. Да бывает ли она лёгкой, вот вопрос.

А я не истратил того рублика, хотя, бывало, поджимало временами так, хоть вой. Зато теперь гляжу на монетку и вспоминаю хорошего мужика, Ефросиния Петровича Баранова, прокудившего свою ногу.

Только и всего

Лыжные ботинки, с выдающимися вперёд носами под место для тугой прищепки крепления. Пружинку приходилось поддавливать сперва ногой, после – обеими руками, но зато была уверенность в том, что не спадут деревянные дощечки во время бега, когда, заглядевшись по сторонам, наедешь, бывало носком на носок и своим же носом в снег.

А посмотреть было на что. Гроздя рябины дразнились из-под остроконечных вязанных шапочек сугробов, тёплые от сытости, пушистые синицы перелетали с дерева на дерево,, сопровождая первые неловкие шаги и всё более ускоряющийся ход, когда тело вспоминало ненужные с прошлого марта навыки, и пускало в ход искомую мышцу, давая повод восхититься и собой, и заснеженным парком.

Учитель посылал меня пробивать лыжню, и хотя одноклассники портили её почти сразу неумелой ходьбой, всё равно, это было здорово – пусть недолго ступать по нетронутому никем снегу.

Разумеется в школе выдавали и лыжи, и остроконечные палки к ним, но это был так себе спортивный инвентарь: брезентовые не раз чиненные крепления сваливались с обуви, а лыжные палки, покалеченные в шутейных сражениях, лиши-

лись петель на руку и ограничительных колечек над остриём. Мне же, приученному отцом к бережному отношению с приспособлениями, которые дают возможность ощутить полноту жизни, такое положение вещей казалось кошунственным.

– Я отказываюсь идти на таких лыжах. – Запротестовал я, когда учитель попытался вручить мне пару никудышных лыж и палки.

– Это как?! – От неожиданности преподаватель даже растерялся, а галдевшие до того соученики замерли, переводя взгляд с него на меня. – В таком случае я буду вынужден поставить тебе двойку. – Не сразу, но педагог нашёл способ восстановить свой на мгновение пошатнувшийся авторитет.

– Ну и пожалуйста! – Нисколько не стусевался я. – Вы будете требовать от нас результат, а с такими лыжами я больше, чем на двойку и не набегаю.

– Надо же, какие мы нежные. Ты что, лучше одноклассников? – Усмехнулся преподаватель. – Впрочем, так и быть, я разрешаю тебе принести в школу свои лыжи! – Добавил он.

И вот, утром следующего дня, в расписании которого значился урок физкультуры, я встал пораньше и поглядев на градусник, добыл мазь, что полагалось нанести на лыжу при температуре воздуха от и до.

Ходить в лыжных ботинках то ещё удовольствие, они скользят и по мёрзлому асфальту, и по снегу, который к то-

му же, набивается в отверстия под крепление. А уж в школе, где крашенные, словно покрытые льдом ступеньки и гладкие половицы... Но что не сделаешь, ради того, чтобы побегать на лыжах в парке целых сорок пять минут! Обычно я делал это в одиночестве, кроме охотников не находилось, да больше того – почитали мои сверстники это моё хождение за чудачество и никому ненужное умение.

Однако никогда не знаешь, что пригодится в дороге жизни. К примеру, замёрзнуть бы насмерть одному молодому военному, русскому, оказавшемуся в непогоду вблизи чеченского аула, да знал тот парень наизусть много стихов, и смог успокоить измучившее юных родителей дитя, напевая «Казачью колыбельную»¹⁸. Запнулся он было на одном слове, но пропел, не сробел. И улыбнулся чеченец, и младенец заснул спокойным сном.

Пришлось же и мне, четверть века спустя, вспомнить прошлое, встать на лыжи, когда после почти недельного снегопада нужно было доставить метеоданные из глубины леса на базу. Лыжи, похожие на те самые, из детства, давно облюбовал паук, но мы разошлись с ним полюбовно. Первый километр бездорожья дался тяжело. Казалось, что продвижению вперёд мешают не сугробы, но руки и ноги. Впрочем, как

¹⁸ М.Ю. Лермонтов По камням струится Терек, Плещет мутный вал; Злой чечен ползет на берег, Точит свой кинжал;

только я прекратил злиться на себя, дело пошло, и сквозь собственное тяжёлое дыхание стал слышен хохот дятла, тьявканье косуль, фыркканье кабана в канаве на перине снега.

– Я благодарен отцу за привитое им умение получать от жизни главное. И чтобы не в пустой след, не задним числом, а прямо сейчас, в эту самую минуту.

– И что это, если не секрет?

– Радость.

– Только и всего?

– Только и всего.

Живая душа

Замостила осень тропинки талой листвой, смыла дождями и весну, и лета, как не бывало. Ходит хозяйкой, шаркая разношенными тапками. Швыряет горстями наземь бусины ягод, а на воду – лепестки стрекоз и цветов, что посмели перешагнуть мытый порог осени.

Лес загодя глух и нем. Птицы молчат о своём горе, нелегко оно, заморское-то житьё. Ну и дорога неблизкая, непростая.

Приглядывая за сборами пернатых, совершенно нехстати вспоминается крик со двора соседки Наташки: «Е-едуу-уут!» Помню, как выглянул в окошко, но не понял, кто едет и куда. Быть может, свадьба?

Я не умел веселиться вместе с другими ребятами, не разделял их радости, когда, к примеру, кто-то из деревенской родни высыпал прямо под ноги молодым конфеты и деньги. Мои товарищи по играм как-то моментально дичали, ползали под ногами празднующих, набивая себе полные карманы сладостей и монет. А я... мне было бы стыдно вот так же. Но их я не корил, и конфетами теми брезговал.

– Да едут же!!! – Наташкино красное от возбуждения лицо вынырнуло из-под подоконника. Даже в играх ей удава-

лось сохранить свежий вид и самообладание, но теперь... –
Выходи же скорее!!! Пропустишь!

Делать нечего, я пошёл надевать сандалии, благо дома в этот час оказался один и отпрашиваться было не у кого, а то б точно не отпустили.

Едва две деревянные ступеньки подъезда спружинили, подняв пыль за спиной, мне почудился странный, невиданный в наших краях запах гудрона.

– Да пошли же! Скорее! Там! Там! – От избытка чувств Наташка не могла объяснить толком, что случилось, и просто указывала пальцем на угол нашего жёлтого шлакового дома, а за ним... Как только мы подбежали, я увидел асфальтоукладочный каток, и рабочих, которые разравнивали слой битого песчаника по нашему бездорожью, поливая его гудроном.

– Наискось льют. – Прошептал я Наташке на ухо.

– Чего?– Не поняла подружка

– Да гудрон на камни, наискось, как сгущёнку, чтобы крепче прилипло!

– А-а-а! – Уважительно покивала головой Наташка, хотя было ясно, что она ничегошеньки не поняла.

У них в семье было мал-мала меньше, и хотя голодным

никто не ходил, но сгущёнки ребятишки не едали. А я был единственным ребёнком в семье, и случилось мать баловала меня, наливала в креманку пару столовых ложек. Мне нравилось, что, когда черпаешь сгущёнку, ранка на её поверхности тут же затягивается, отчего кажется, что она бесконечная.

Когда возле дома был-таки, наконец, положен асфальт, и вокруг него, рамкой, установили поребрик, ребятишки быстро усвоили, что это замечательная штука для игр в классы и рисование, да даже в выбивалы теперь играть было интереснее, ибо мяч с таким весёлым звоном отскакивал от дороги, что проходящие мимо взрослые улыбались невольно и кивали: «Играйте, играйте, покуда ещё нет других забот.»

Хотя у нас были, эти другие заботы: и картошку окучить на огороде перед домом, и сорняки выдергать, и за хлебом сбегать, и полы помыть, и угля натаскать из подвала. А про капусту нарубить по осени целую бочку с мамкой на пару? Разве не дело?! Квасили у нас её все. Хрустела вкусно!

Позже на месте наших огородов разбили сквер, – цветочки-клумбочки, дорожки, опять же – колокольчики фонарей на чугунных стеблях с бутоном из стекла, куда с первого же вечера стали набиваться бабочки и мошки. Та ещё была забава, – смотреть на них, бьющихся в тесноте плафона, не умея им никак помочь. Но при свете тех же фонарей, развалинами старинного замка казались кусты возле дома, а выросшие с

нами вместе тополя – сторожевыми башнями.

Ну, это, конечно – поначалу представлялось всякое, а потом попривыкли, и стало это всё как бы уже неинтересным, обыденным, не имеющем большого значения. И шли мы мимо по своим важным делам, не замечая ничего вокруг...

...Синица стучится в окна, проверяет – дома ли, не позабыли ли про неё, запасли ли ей на зиму чего. Да ну, забудешь её, как же. Это про себя случается, что и не вспомнишь, а про птицу – то не, нельзя. Как-никак – живая душа.

Нам нужно быть

Мы много говорим о генетической памяти, о традициях, забывая о том, что призваны создавать и поддерживать их сами ежедневно.

К примеру, когда по дороге в парк ведём ребёнка поклониться Вечному Огню, где он положит свой букет одуванчиков, что будет дороже венков из роз траурного цвета бордо. Вряд ли ребёнок откажется прийти сюда ещё раз, и попросит рассказать – зачем, да почему тот Вечный Огонь.

То же самое и про поход в музей, или если вместо мультфильма посадить ребёнка полистать семейные фотографии, рассказывая не про вымышленные приключения несуществующих героев, а о героях, без которых не было бы никого из присутствующих.

– Мам, и тебя бы не было?

– Ну, конечно, это же мой папа!

– А как же я?! Меня бы что, тоже?!

– Ну, видишь, ты и сам во всём разобрался.

Редкое дитя минует гордость за своих предков. И вместо отцветших, отживших своё одуванчиков, в следующий раз принесёт малыш к Вечному Огню букет кленовых листьев,

а зимой, отодвинув сугроб подальше от пламени, положит сосновую ветку,украшенную шариком и мишурой. А всё потому, что те, которые не дали погибнуть его Родине, не дожили до очередного Нового Года.

– Они ведь тоже когда-то были детьми, правда, мам?.. – Шепчет малыш и плачет.

– Были. – Отвечает мать и тоже не прячет слёз.

Именно так зарождается патриотизм.

Все люди братья... Мой дед рассказывал, как в Литве на совещании перед войной, он в письменном виде докладывал, что в случае боевых действий, части стоящие от границы до Укмерге ненадежны. Они укомплектованы призывниками из Прибалтики. Так и вышло. Прошли враги, как по маслу.

Поделившись со мной тем, что знал, дед вовсе не хотел ранить детской души или открывать на что-то глаза, но не желал он и того, чтобы кто-то воспользовался однажды моей доверчивостью.

Все люди братья, говорите? Конечно. Если им объяснить, что это так, что это должно быть так и нельзя иначе. Слишком много надобно разрешить человечеству, прежде, чем размениваться на войны, или тягаться, которая из стран главнее.

...Помните, из Евангелие от Матфея, гл. 6, ст. 26? – «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их...».

Горсть овсянок беспечно снуют на ветвях винограда за окном. Родители сравнились с детьми, поправились, с птенцов сошла ненужная в предстоящей дороге пышность, готовы к отлёту. Щебечут, веселятся. Нам нужно быть, как они. Нам нужно быть, как они? Нам нужно быть.

Пейзаж за окном...

Пейзаж за окном меняется ежедневно. Особенно это заметно осенью. Кожа ладоней листвы сохнет, покрывается заусенцами и цыпками, как у ребятишек, что, не слушаясь матери, лепят голыми руками из снежков замки. Ну сперва, конечно, покуда их можно ещё увидеть через окошко, они держатся, не снимают варежки, только шевелят нетерпеливо влажными пальчиками под колючей вязаной шерстью, но как только скроется из виду кухонное окно, то срывают поскорее помеху, стряхивая её в сугроб. От того, понятное дело, теряют часто: хотя пришитые, или на резинке, или просто так.

Деревья тянут руки ветвей в окошко, стучат по стеклу холодными пальцами, перелистывают тень за тенью на стенах комнат, словно страницы, просят пустить их в дом обогреться. Да только как ихпустишь, коли они ...не дрова?

Одуванчиками облетают кроны дубов, трогают небо за голубоватый, бритый подбородок, будто младенцы. Ну, а тому приятно, ясное дело.

Виноград, цепляясь усами, как лягушачьей лапкой за ветер, раскачивается в его колыбели безмятежно, представляя, что всё ещё лето... лето... лето. А там и стрекоза, играя со своею тенью, замирает над песком.

Впрочем, глядя во двор из окна, невольно замечаешь места, которых первым коснётся снег. Мерещится даже бесконечный с утра до утра сумрак, распутица, грязные голенища и кляксы на подоле... И от того охотно прощается осени погожий, хотя и ветреный денёк.

Всяк имеет за душой и на памяти свои признаки, указующие на скорую осень. Не берусь перечислять приметы прочих, но имеется таковая и у нас.

Как только, выйдя в сумерках из дому на порог, встречаешь там лягушку, лучше не трудиться брать календарь – осень пришла и уже не передумает.

Лягушка отправляется спать до весны, а нам можно смело прятать летние туфли, перевешивать из шкапа в прихожую плащи и тёплые пляпы, да вспоминать поскорее, куда подевали бекешу и капор, ибо после осени...

Намотанная на бобину бытия картинка за окном сменяется одна другой непрерывно, а ты стоишь и ждёшь бесконечного её повторения...

– И как не надоест смотреть одно и то же?!

– Да вот так.

Крадётся осень...

Крадётся осень татем, сорит тотемами, какими следует, зиму следом не ждёт, сама придёт. Осень-то не видать, в лицо не узнать, а по всему понятно – ходит где-то, прячется. Нет-нет и шелохнётся куст, – задела, значит, а коли сосна поведёт плечом, то не иначе пропуская её, незримую, пройти даёт, сторонится.

Нам-то оно не видно – не слышно, а лес наострит ушки лисьи, поворотит туда-сюда, и разбирает что где. И парение вокруг конфетти листопада, и хруст листа клевера, который ровняет острыми мелкими зубками зелёная гусеничка. И тихий треск перепечёного пирожка жёлудя на плюске, ровно на блюде, так что сквозь лопнувший кое-где бок видна сытная его начинка.

Дубы хохочут, качают голыми пятками, небо мнёт их, улыбаясь и не требуя от себя отчёта – отчего. Так вымешивают ножки младенцев, будто, задумавшись, – тесто: без устали, долго. И убаюканные на волнах нежности, смотрят после на мир вокруг через приставшие к глазам розовые лепестки цветов.

Не смущаясь присутствием друг друга, обнимаются с небом бабочки и стрекозы. Ведь на прощание – не зазорно.

Мало ли, может и не свидятся больше никогда. А тут – кинутся на шею, прижмутся жарко, расцелуют, куда попало, и...

– Ну, дальше, дальше-то что?

– Ничего.

– Разве оно бывает, чтобы заканчивалось эдак-то?

– Чаще всего, именно так.

– Ничем?!

– Ну, отчего же! А воспоминания, что греют сердце годами после! Разве они не стоят ничего?

– Был бы спрос...

Осень ступает тихо мимо спорщиков, время помирит или рассорит их, – ей всё равно, своё время тратят они на пустопорожние разговоры. А ей самой на откуп дано немного.

– Всего три месяца!

– Или целых три?

– Ну, тут как считать...

Лагеря, лагеря...

Если кратко – меня часто выгоняли из пионерских лагерей, но не в том нежном возрасте, когда после отбоя страдаешь украдкой по томящимся в городской квартире родителям, а в те года, когда ты уже по ту сторону ответственности, и смотришь на ребячью возню с большой долей зависти. «Надо же, – думаешь ты, глядя на детей, чьё времяпровождение призван наполнить смыслом, – они не отвечают даже за себя. Совесть их чиста. И как же это я сам упустил то золотое время? Отчего не задержался в нём дольше, не прочувствовал, не осознал до конца, не испил до самого доньшка, как некогда, в кафе промеж дюн на берегу Сарматского океана, помидорный сок через трубочку. «Не допивай до конца, ты слышишь, как это некрасиво!» – Упрекала меня в ту пору матушка, но из-за подначек старшего брата, с которым мы всё делали наперегонки, кто скорее, я не мог её не послушаться.

Что про лагерь, то всякий раз меня подводил характер. Я работал на совесть, поступал по совести, и эти качества возводили между мной и коллективом лагеря непреодолимую стену.

Ко мне подсылали парламентёров с горячительным и го-

рячих посланниц, с надеждой, что я добровольно перейду в стан нормальных, оставивших семьи за бортом лагерной смены. Но я не хотел заниматься никем, кроме своих подопечных.

Припоминаю, как однажды утешал рыдающую девочку. Мама приехала к ней после работы, привезла клубнику и забрала грязные трусики, а теперь девочка представляла, как бедную маму в темноте догоняют волки.

– Даже и не думай! Гляди, какая храбрая твоя мама. Её никто не тронет, так что не плачь, а попозже я позвоню, узнаю, как она доехала.

– У нас нет телефона... – Всхлипывала малышка, но я-таки нашёл выход, и дозвонился соседям девочки.

Я подошёл к её постели. Расстроенная, она не могла спать, пока не получит известий. И когда, погладив по мокрому от слёз выгоревшему на солнце чубчику, я прошептал ей на ухо одно только слово, малышка засияла:

– Правда?!!!

– Я никогда не вру. – Успокоил я ребёнка, пожелал доброй ночи, а когда прикрывал дверь в палату девочек, услышал, как подружки малышки наперебой спрашивали, что я ей сказал.

– Доехала! – Ликующе сообщила девочка.

Ну, разве это не счастье, знать, что успокоил , утолил нешуточную сердечную боль ребёнка?

Вместо посиделок со сверстниками после отбоя, я читал своим ребяташкам сказки, пел песни. Мне были ведомы их побуждения и мечты, им были интересны мои. Родители детей осаждали профкомы просьбами о путёвках на следующий поток, в надежде продлить благотворное общение, но увы. В конце лагерной смены, начальник, отведя в сторону глаза, сообщил о моём увольнении.

– Причина? – Поинтересовался я, но тот лишь покраснел и махнул рукой. Всё было ясно и так.

Когда я приехал навестить своих ребят, то застал их слоняющимися без дела вокруг спального корпуса. Окружив меня плотным кольцом, они плакали, а я... я чувствовал себя подлецом и предателем, хотя в самом деле не было за мной никакой вины, и быть не могло.

Лет эдак десять спустя, понадеявшись на то, что Гераклит Эффеский прав в своём «Всё течёт, всё меняется», я отправился в детский лагерь, сменивший название с пионерского на оздоровительный, но не утеревший своего предназначения. И если дети были прежними, – податливыми, с кру-

пицами въевшейся уже житейской грязи и преувеличенным, выраженным инстинктом самосохранения, то и у взрослых не было причин меняться к лучшему.

Впрочем, эта история оказалась короче прежней.

Один из моих мальчишек, не спросившись, полез на дерево. Ушибся, и когда я заметил ссадину, сразу повёл его к доктору. Девица, что зевала в кабинете, не была похожа на врача. Я попросил помочь ребёнку, и она, ничтоже сумняшеся, принялась накладывать компресс на ушибленное место.

– Что вы делаете!?! – Изумился я. – Первые три дня холод.

– Мне лучше знать! – Надменно ответила дама в белом халате, и к вечеру следующего дня пришлось вызывать неотложку, так как рука распухла и посинела.

Уставший врач скорой подхватил мальчишку, я напросилась с ним. Доктор больницы подтвердил, что да, надо было делать так, как сказал я, о чём и написал в своём мягком журнале, и выдал соответствующие указания по лечению. С предписаниями от врача я отправился в медпункт, но сытая от проверок столовского меню лекарь отреагировала тривиально.

– Вы подговорили там всех в больнице! – Сказала она.

На следующий же день, директор оздоровительного учре-

ждения, по совместительству – тётя докторицы, указала мне на выход с негласной формулировкой «За зазнайство», а выписанной чернилами – по моему желанию и её велению.

Ну, я и пошёл, ибо уже хорошо знал, где он, этот пресловутый выход. Он был ровно там же, где и вход в это нехорошее место. Яркий, многообещающий снаружи, на деле – пустой, опустошающий, в котором, насколько удался отдых, судят по привесу массы тела, а не по количеству полученного счастья или прибавлению ума.

Листопад

I

Сыну

- Прости меня.
- За что?
- Что втянула тебя в это.
- Во что?
- В жизнь.

Это не моя заслуга, и вина не моя, хотя, – как знать, как
знать...

II

Небо плавилось у горизонта, растекаясь белой кляксой за-
ката. И бесчинствовал ветер в ночи, а поутру – скулы окон-
ных рам в испарине, стеклянные щёки в потоках слёз.

- И что это значит?
- Холодно.
- Где?
- Во дворе. На сердце. Повсюду.

- Подумаешь! Оденься теплее, вот и вся недолга.

– Но во что закутать душу?! Как, чем согреть её?..

III

Ты напоминаешь про уход нашего друга, рассказываешь о том, что потерял младшего брата, и промежду слов, как между строк явственно слышен крик, оглушительный для моей души. Мольба о помощи. Но я ничем не могу тебе помочь, как и ты не в состоянии сделать что-либо. Только пожалеть и разжалобить, посочувствовать, да сопереживать, – неустанно и непритворно.

Это будто качели: туда-сюда, туда-сюда, но всё на одном и том же месте. На мёртвой точке равновесия добра и зла, жизни и небытия, любви и отвращения.

Зелёный дятел стучит по красной крыше и всякий раз в точку. Дождик – «кап-кап!» – и ни единого раза мимо, всё в цель. Как время, что убивает в нас людей. Лишает искренности и принуждает думать только о себе.

Равновесие

– Как хочешь, а сколь в нас злобы, столько и добра!

– Это ещё почему?

– Так для равновесия! Коли когда надобно себя добрым показать – кажешь, ну, а коль наоборот, то толику ото зла и выпячиваешь...

– И почему?

– Дабы в целости себя сохранить!

Не успела ещё прийти в себя и обсохнуть округа, как взялся за неё ветер. Он был столь силён и упорен, что казалось, не всякий дом вынесет его настойчивости и после очередного порыва либо сдвинется с места, ободрав бок вишне, рябине, черёмухе или ещё какому кусту, что жмутся доверчиво по обыкновению к стенам, ну или полетит той дом в тартарары, снимая шляпу крыши перед всеми встреченными поперёк его нечаянного пути.

Срывая листья с виноградной лозы, ветер словно бы делал доброе дело, помогая птицам отыскать припрятанные на чёрный, морозный день гроздья, но он был в тоже время так неловок, что ронял и их. Впрочем, те падали не враз.

В попытке удержаться, ранились о сухие с прошлого года ветки, истекая пахучей сладкой кровью, но даже это было

напрасно, ни для чего. Ибо ветер уже разогнал и пчёл, и ос, и шмелей, так что некому было утолить ту терпкую слегка печаль винограда, некому было даже просто – полакомиться бездумно.

Изнеможение и расстройство лишало оторванные гроздья последних сил, и они скоро оказывались на земле в разорванных одеждах и с растерзанной, видимой всем душой, на дне которой таились в испуге косточки, кой не ожидали для себя такой участи.

Хорошо, если синицы входили в их бедственное положение и, налетев стайкой, разбирали виноградины, но, коли по чести, птицам больше нравились нетронутые никем ягодки, нежели побитые, попорченные лихой судьбой.

Покуда лиственные страдали от проказ ветра, менее стоговорчивые хвойные смотрели на его ветреность и шалости сквозь иголки, будто сквозь пальцы. Ими же расчёсывали они локоны солнечных лучей, что вольно лежали на плечах округи. Под плечами, разумеется, подразумевался горизонт. Зимой его винули в том, что повадился зазывать солнце в гости, не дожидаясь ужина, летом – что позволял ему, спавшему не больше часа, утомлённому бурной ночью и с пылающим от стыда лицом, идти одному.

Всё нам не так. Мы также неловки и нервны, как тот ветер. Нам зазорно показать свою доброту, а иной раз просто

не можем отыскать в себе поползновений на неё, но вместо стыда, давимся злобой ко всему округ...

Кстати же, поползень не столь брезглив, как синицы. Он и отыщет измятую ягодку, и откушает, и поднесёт супруге, которая, как водится, дожидается его у окна...

Бесконечная мелодия

Потускневший, утративший летние краски виноградник был похож на копошащихся бесцельно жуков. Каждый лист завял как-то затейливо: некоторые сделались в крапинку, подражая мешанской, милой расцветке божьих коровок, другие – в полоску, на манер колорадского жука, к чьей пижаме сошла бы свежая газета и свежезаваренный чай.

Впрочем, ветер не давал воображению шанса и сдувал поскёкшуюся гриву лозы, как огонь свечи, а то и нежно дышал из под низа, принуждая пенится это увядшее сборище, иногда же – просто стоял в задумчивости подле и перебирал тихонько, разминая в крошево расписные листы промеж пальцев.

Небо бледнело и хмурилось, глядя на такое расточительство, а после и вовсе вышло из терпения, лопнуло понавдоль пепельного облака, просыпав крупку снега, которую готовило загодя в подношение зиме.

Отвыкший давно не то от упрёков и поучений, но намёков на оные, ветер будто оглох, однако проникся, отступил от виноградника. Пользуясь минутой покоя, тот принялся вздыхать, мерно, неглубоко, – покорно, и скоро сник, по причине имеющегося у него обыкновения следовать сторонней воле.

Не от того, что не имелось своей, а так... просто, вышло по естеству, тяготеет-то к принуждению не всяк.

Спустя недолго, стряхнув с себя оцепенение и вернув прежнее расположение духа, ветер стал вести себя как прежде, хотя... может статься, чуточку осмотрительнее. От того виноградник вновь ожил, затрепетал, да почудился похожим на осеннее море, чья грудь вздымается от бега и волнения. Подбирая песок с мелководья оно играет им, но недолго, коротко даже, ибо скоро изнемогает под его бременем, как под ношей мелочей, подчас, слабеем и мы.

Ветер, море, небо... Как много и мало всего, но именно из этого малого соткан мир, словно из нескольких, считанных на пальцах нот, – музыка. Бесконечная мелодия бытия.

Как и мы...

– Надо же, только-только всё было зелено. а вот уже и позолота осени...

– Дёшево! Тонок слой золотой слюды. А то и вовсе патина, обманка.

– Да не обман! Позеленевшая, будто покрытая мхом под суровым взглядом времени бронза монументальных колонн дубов. Хлысты тополей, розги берёз, – всё в назидание живущим. Бытие моментально, и питает, покуда мы не теряем способности брать от него, сопереживая и восхищаясь, разделяя с ним его радости и...

– ... печали...

– А вот и нет! Разделяя с ним его радости и не замечая печалей. Не они главное, хотя и обратная сторона всего...

– Да ещё б понимали они...

– Ну, так и ты не так, чтобы очень!

– Так я и не спорю...

– А лесные, местные, – им всё, как должно, за чистую монету, зачастую вовсе без внимания, – только к себя, на себя, о себе. Им не в диковинку дикость чаши, ибо им она – дом родной.

В лаке осеннего дождя округа сияет, ровно именинница. И не беда, что по самоё исподнее мокра. Разбуженный первым морозцем дух калины, – густой и терпкий, уже витает подле её ярких зарослей, не даст пропасть зазря.

Разношенная ветром паутина волнуется на сквозняке покидающего землю тепла. Замотанные ею деревья,, как сеткой для волос, не дают растрепаться причёскам до часу. Сквозь ту же паутину солнце при случае цедит струи света, разливая их по мало-мальски заметным впадинам, стараясь не пролить ни капли, дабы не попало с неба на землю ничего лишнего.

День лихорадило. Небо от заката до восхода мрачнело, от рассвета до вечерней зари маялось. Впрочем, как и мы.

Осенний лес

Осенний лес присел ввиду первого мороза. Из почтительности, либо по привычке тушеваться перед неодолимой силой. Зачесал травы от тропинок к полянам так, что стало видно проплешины пробора. Стряхнул с себя лишнюю, ненужную уже листву, принарядился бусами ягод, жёлудей и орехов, – в кроне-то их было не увидеть, зато теперь – всё напоказ. Лес прибран, выметен, пни отмыты добела. Округа, всякий ея завиток прописан для уверенности белой тушью инея.

Всё и все на своих местах, кроме, пожалуй, божьих коронок, те мечутся в поисках тихого угла. Которые попроворнее, жмутся ближе к кухне. Там есть случай отсрочить зиму подле оставленных нарочно для них, недопитых чашек сладкого чаю.

Заскучавшие было поленницы торгуются друг перед другом – кому первым идти дразнить печь, дабы довести её до белого каления. Ну, первой, понятное дело рвётся показать свою удаль осина, сосна с нею наравне.

Берёза, та чуть не в треть жарче, да помалкивает. Ей довольно того, что все, кому не лень дерут с неё по три шкуры бересты на растопку.

Летний дуб с зимним не спорят, им не по чину, без разницы и старшинство, и который за кем пойдёт. Хочешь не хочешь, всё одно не отпроситься, придётся отправляться вслед за прочими, да только не прямо теперь, но в самые те морозы, когда про осень и не вспоминает никто, а ежели когда капли с ведра в колодец бегут, зябнут на лету, бьют больно низкую воду, звенят звонко.

Ну, коли и дубы не осият мороз, тогда уж придёт черёд ясеня. Печь под ним не то красна, но аки дева – тает в неге. Глядишь, и людишки подле согреются, и коты выйдут, позёвывая из-под одеял, а там и божьи коровки, что, напившись вдоволь чаю дремали сладко, проснутся и примутся летать по комнатам, ползать по геранькам с подоконниками...

Но то ещё нескоро. А нынче... Присел ввиду первого мороза осенний лес.

Самое время...

– Идёшь, эдак, чуть ли не оборачиваясь, а в спину тебе смотрит строго тёмным глазом спиленного сучка сумрак с полумраком сумерек, и кажется, что прямо в душу, зная всю твою подноготную с намерениями и мимолётными дурными помыслами, кои гонишь от себя, а они выются подле по-ко-мариному, терзают одним видом своим, близостью.

– Вам, батенька, от таких-то помыслов, на воды надобно, проветриться, а то недолго до нервной горячки, право слово.

– Да вы сами поглядите, выйдите к нам во двор ввечеру, туда, поближе к колодцу, где сараюшка расшатанная, что опирается на диковатую грушу, так вот сверху полешек от стены отошёл, с него и глазеет на проходящих!

– Какая груша?! Диковатая?! – Торопееет приятель. – Не постигаю! – Недоумеваает он, чуть не плача и участливо приблизив своё лицо к моему, интересуется, – Вам нехорошо?

– Ой, да что ж вы-то такой нервный нынче. – Пытаюсь успокоить его я. – Помните кузину мою, Татиану?

– Белобрысенькая такая?

– Совершенно верно, brunетка! Огненная! Вороново крыло ни в какое сравнение не идёт!

– Ну... помню... – Осторожно кивает головой приятель.

– Так вот, когда Татиана была ещё Танечкой, то маменька не позволяла ей кушать дички с того дерева, говорила, что животишко погрызёт, в отместку за надкус. А Танечка эту грушу за то и прозвала диковатой. Она даже теперь, когда за Льва Георгиевича вышла, по приезду ту грушу всяко обозвать норовит, так напугалась ребёнком.

– Занятое у вас семейство, сажу я вам, сударь. И су-мрак-то с глазами, и груши кусаются. Надеюсь, хотя в булках с маком, что столь замечательно пекут на вашей кухне, никакой живости не замечено? Брезгают гостями, не покушаются?

– О, насчёт этого, – нет! Можете быть совершенно покойны. Ни на гостей, ни на домашних! Кстати же, пойдёмте, я слышу подали уже чай, звенят посудой...

А покуда в доме кушали и подтрунивали друг над другом, осень встряхнула кроной сосны, как мокрым веником после уборки, да присела на низкую скамеечку пня. Тогда же, вовсе некстати, мимо летела оса, заблудилась, видно, ошалела.

Жалила оса осень, да не осилила. Не почтила взглядом осу осень, дунула только, её след и простыл, как простыла вокруг округа, вдоль, и поперёк лес, вкривь и вкось поляны, – некогда ветру примериваться, всё на глаз.

Таки мёл-мёл, мьял ветер, разметал листву, а что оставил? Худенькие ручки ветвей с коготками почек, гнёзд ветхие лукошки на самом виду, да волчий вой, что струится холодным ручейком по ветру.

Облака же, поперёк давешнего, высоко стоят, глядят рассеяно. Тщатся достать до них кленовые листья, летают ласточками, берёзовые – овсянками, а боле и нет никого, все по домам сидят, булки маковые надкусывают, чаем запивают. Ибо – осень, самое время на то.

Она...

Она явилась будто ниоткуда. Как если бы воздух, который был неподалёку и слонялся без никакого дела, собрался весь шепотью в одну точку, чтобы я смог разглядеть её.

Сперва она прошла мимо, нарочито не замечая моего присутствия. Словно бы просто направлялась куда-то по своим делам. Я глядел ей вслед, покуда уже нельзя было различить, где она, а где прозрачная, поглотившая её даль, и вздохнул, сожалея об ней, как о потере чего-то необходимого, кого-то неизменно милого и дорогого.

Я постоял немного, в ожидании, что она возвернётся, или, по крайней мере, уляжется немного моя печаль, как кто-то тронул за плечо. Конечно, это была она. Улыбаясь лукаво и загадочно, она заглядывала мне в глаза, проверяя, насколько я тосковал об ней, томился ли и сколь рад теперь, что она здесь. А я... Я улыбался счастливо, смеялся даже, – над её шалостью и лукавством.

Довольная тем, что я скучал, и нисколько не тревожась о том, что будут думать об ней другие, она нежно, порывисто провела по моей щеке. И это было так неожиданно, так трогательно и щемяще, что слёзы брызнули у меня из глаз.

Дабы не смущать меня ещё больше, она крутила пуговицу на моём сюртуке и болтала о чём-то, будто с дружкой. Тронутый её расположением и доверчивостью, я боялся сойти с места, дабы помешать, положить конец этому чудесному случаю, что переживал теперь, благодаря её наивности, откровенности, и непридуманной, непритворной склонности ко мне.

Когда же, так казалось, я уже наскучил ей своей неопределённостью и молчанием, она вдруг улыбнулась игриво и безмятежно, после чего ...забралась мне под сюртук.

Я рассмеялся, отпил немного от мятного солнечного луча, что напоследок щедро разливало теперь солнце, и отправился восвояси. Божьи коровки часто пользуются моей добротой, чтобы проникнуть в дом. Ну, а я что? Отчего бы я был несогласен? Я повсегда доволен тому и бесконечно рад...

В пудре третьего мороза...

Белая бабочка, капустница, бьётся зачем-то о кремень белого придорожного валуна, кварца, а утомившись присаживается поперх и прислушивается к ясному, лунному вою волка, столь редкому при свете дня.

Песнь волка, звонкий его, протяжный вой наполняет хрустальный сосуд небес и плещется там в долгой жалобе, взывая к клубку солнца, что разматывает мягкие нити в просторную корзину леса. Пытаясь удержаться в зените, цепляется за щетину сосен, за узловатые пальцы лип и куриные лапы ив. Пауки расхватывают те нити и носятся с ними по воздуху, в поисках – пристроить куда.

Возожжённые тем же солнцем, нехотя плавятся жёлтые восковые свечи деревьев. Скапывая на землю скомканными листьями, заливают ими подножия, делаясь основательнее, неколебимее. Ими набиваются и трещины коры, и дупла, из-за чего скрадываются орехи или ущерб иных достоинств, кои на виду большую часть года.

Впрочем, нам ли, сторонящимся всяких зеркал, пенять на недостатки прочих. Наши тени лишены гармоничности, нас пугают звуки собственного голоса, зависть чужой красоте лишает нас аппетита и доброго расположения духа. Разве

можно представить такое в отношении цветка, либо птицы? Отчего пёс видит в нас душу, а мы сами у себя не в состоянии её разглядеть за ширмой телесного несовершенства...

...В пудре третьего мороза, округа обрела формы и похорошела... в который уж раз. Возрастную нестыдную плешь она умело прикрыла лаком льда, так что ввечеру вполне могла б сойти за молодую...

Очередной день выдуло из жизни вместе со встречным ветром, как лист с дерева, и мы со страхом оглядываем собственную крону, боясь счесть оставшуюся ещё на ветках листву. «Лучше не знать...» – Бормочем мы, и ищем оправдание своему испугу, а заодно и занятие, что отвлечёт от него. Жаль, ненадолго. Впрочем, как и всё...

И больше ничего...

Лес снял занавески листьев, и окликнув на подмогу дождь, устроил не стирку, а самую, что ни на есть прать¹⁹. Ну, не всё ж обходиться замарашкой, в пыли.

Приладив лоскуток листа к лоскуту, лес разложил занавески на траву для просушки. Ясно дело, позабудет про них, а после, когда мороз, в шутку или заодно с прочим возьмётся крахмалить их, те занавеси будет уже не поднять.

– Пусть их. – Махнёт беспечно лес главою, задев макушкой облако. – Подберём другие, будут краше прежних.

И окажется прав.

Ежели глядеть с тропинки в лес, чудится, будто деревья корнями промеряют землю.

– Промежду указательным и большим пальцем, по-нашему, по-людски, – оно пядь. А по деревянному как?

– Мы им не ровня. Каково дерево, таков и шаг. Нам про то знать не к чему. Да и им мерить незачем. Всё одно, стоямя стоят, покуда не рухнут.

Раскаленные в печи осени листья калины долго хранят её жар, бывает, что аж до снега. И не до первого, что является

¹⁹ стирка без мыла

как бы невзначай, мимоходом, а до настоящего, что не пропитает землю собой, но укрывает её белой просторной простынёю.

Трепещет птицей последний на дереве лист. Никак не решается оставить родную ветвь. Манит его за собой ветер, зовёт в прозрачное, призрачное никуда. А дерево в грусти и воздыханиях, смолчит, отдавая право решать свою судьбу самому листу.

– И кто будет обвевать тебя в душный день? – Сокрушается тот.

– Так и не будет их, тех дней, ступай себе. – Нарушает молчание дерево, нисколько не кривя душой...

– Помилуйте! Об какой душе речь? Об деревянной?! У дерева-то! Дрова они и есть дрова.

– Ну, так у дерева хотя деревянная имеется... – Двусмысленно замечает визави, и замолкает, провожая взглядом лист, что поддался-таки на уговоры ветра.

Недолго был его полёт, да и не назвать то полётом вовсе, одно лишь поползновение, и больше ничего...

Все билеты проданы!

Я долго не мог заснуть. То кровоточило сознание или на поверхность памяти всплывал один лишь сор досады и разочарований, оставляя ягоды приятных душе, памятных событий под толщей мутной воды суеты, так что их с трудом можно было разглядеть.

Отчего временами случается так? Мы ступаем по проволоке жизни, она с недовольным гудением трепещет под нашими шагами, раскачивается с неизменным, неутомимым намерением сбросить.

Ну, так и добьётся своего однажды, ни к чему тут притворство. Да только зачем напоминать так часто и настойчиво, мешая тем самым, радоваться тому, что есть прямо теперь.

– Что ж ты такой бестолковый! – Укоряет малыша мать. Она тянет его за руку по своим делам скорее, чем могут поспеть его мягкие ножки. Малыш полностью полагается на мать, и идёт, задрвав лицо к небу, разглядывая оставшиеся от ночи звёзды. Ясное дело, ребёнок спотыкается, в конце концов, повисает на руке матери и падает...

– Да когда же это закончиться! – В сердцах кричит мать и на её глазах проступают слёзы.

Малыш тоже расстроен, но что значат отбитые коленки в сравнении с небом, от которого глаз не оторвать. Но слёз матери ему жаль, и кротко глядя на неё снизу вверх, малыш говорит, что думает, во что верит:

– Мамочка! Когда ты плачешь, твои глаза блестят, как звёздочки! – И гладит мать выпачканной в земле ладошкой по мокрой щеке, оставляя чёрные следы.

Что тут скажешь... Вот она, одна из сладких ягод бытия.

Которое в жизни главное? Пожалуй, любое. Напоминая себе об этом, улыбнёшься невольно разбросанным на ковре осени пуговкам грибов, молчаливому в эту пору лесу и утренней звезде, что тает вместе с зарёй. А то и летучей мыши, раздвигающей поспешно занавес ночи, дабы началось очередное представление со всегдашним названием «День», в котором повсегда – «Все билеты проданы!»

Пусть этот новый день не утомит ясного взора, да пройдёт незамеченным для намыленного мельканием времени взглядом. Тому-то оно – не имеет никакого значения.

Очень жаль

Муха явно была «под мухой». Выплясывая гопака подле оконного стекла, она гудела и плевала слюной, пачкая недавно вымытое окошко.

Глядя на муху, мне припомнился мой первый танец. Нет, он не был разнузданным или непристойным, более того, – он даже не состоялся, но сыграл в моей жизни определённую, быть может, даже решающую роль. Это как распутье: налево пойдёшь, кавалера найдёшь, направо – кавалериста, а по дороге прямо поджидает, наверное, вороной, с настоящим синим отливом. Всё, как в жизни.

Дело было в одна тысяча семьдесят первом году. Между последней перед ремонтом бассейна тренировкой и поездкой в экспедицию на Соловки оставался целый месяц, и дабы я не болталась без дела, в сотый раз перечитывая «Бедные люди» и заметки о Сахалине дальнего, но любимого родственника²⁰, мать навестила председателя профкома завода под зудящей по-мушиному аббревиатурой ВЗПП [вэ-зэ-пэ-пэ] и раздобыла мне, – совершенно бесплатно! – путёвку в пионерский лагерь.

²⁰ «Остров Сахалин» А. П. Чехов, 1891–1893 гг.

– Мам! Я не поеду!

– Вот ещё! Без разговоров! – Сказала, как отрезала мать.

– Ну это же двадцать один день! – Возмутилась я.

– Ты неправильно считаешь. – Возразила родительница. –

Не двадцать один день, а всего лишь три недели.

– А мне надеть нечего! – Нашлась я. – У меня спортивных купальников четыре, а платья ни одного! Тут на обороте путёвки написано, что нужно с собой брать, так что я не еду!

– Едешь. Бабушка уже сострочила тебе пять штук, с юбочками в оборочку.

– Что?! – Чуть не заплакала я. – Какие оборочки?! Куда я ножик положу?

– Никаких ножигов! – Рассердилась мать. – Может быть, хоть эти три недели ты будешь вести себя не как мальчишка.

С чемоданом, набитым девчачьим тряпьем и ножиком, спрятанным между трусиками и пилоткой, я уныло махала из окна автобуса сияющей от удовольствия матери.

По приезду на место, я выудила из вещей ножик, и пока остальные ребята знакомились друг с другом, принялась остругивать кусок коры. В моих мечтах это был корабль, или по-меньшей мере лодочка, а уж как оно было на самом деле, теперь и не припомню.

Дни медлили с закатами, дела вырвавшийся из домашней обстановки ребятни меня занимали мало, и я по-прежнему мастерила свою флотилию где-нибудь в уголке.

Единственным светлым пятном на фоне скучного, утомительного отдыха, оказалась «Зарница». С беготнёй по лесу «в разведчиков» и полевой кухней. Старшим отрядам даже позволили пострелять по мишеням. У солдатиков, которых приставили присматривать за юными бойцами, был жутко важный и немного насмешливый вид. Помнится, я подошла к одному и попросила дать мне винтовку.

– Девчонка! Куда ты лезешь! Иди-ка лучше в куклы играть! – Попытался отогнать меня солдатик, но я была настойчива.

– Ну, ладно, уговорила. Вот тебе три пули. С тебя хватит, всё равно не попадёшь.

– С пятнадцати метров в мишень?! Вы смеётесь? Да легко! – Уверила я, привычным движением разломилла винтовку, и спросила, – Спички есть?

– Ты куришь?! – То ли ужаснулся, то ли восхитился боец.

– Вот ещё! – Презрительно скривилась я. – Подводники не курят. Пристрой-ка лучше спичку рядом с мишенью. Серой кверху.

Боец с опасением оглядел меня, но повиновался. Почти

не целясь, с первого выстрела я пробила центр мишени, а вторым подожгла спичку.

– Вот так! – Лихо стукнув пяткой о пятку, я протянула винтовку солдату.

– А третью? – Кивнул он на горошину пули, что сиротливо лежала на огневом рубеже, как на прилавке.

– Третью пулю можешь оставить себе! – Гордо позволила я. – На память!

Вечером следующего дня в лагере были танцы. Девочки и мальчики прятались друг от друга до поры, дабы поразить своим видом. Мальчишки расчёсывались на бок мокрой расчёской, а девчонки обменивались нарядами и скребли голубую побелку со стен, натирая ею веки.

Идти на танцы совершенно не хотелось, но вожатый отказался оставлять меня в корпусе одну:

– Ну, что ты в самом деле! – Уговаривал он. – Все дети, как дети, а ты... А! – Вдруг догадался он. – Ты, наверное, не умеешь танцевать!

– Почему это! – Обиделась я. – Умею! Вальс. Раз-два-три, раз-два-три...

– Так это всё равно, что не умеешь. На наших танцах вальс не играют.

Под разговор с вожатым, мы дошли до огороженной ажур-

ным заборчиком поляны, за которой уже топтались в такт музыке дети всех возрастов и комплекции, а взрослые следовали за порядком, стоя тут же, неподалёку.

– Как зверинец... – Пробормотала я, и вожатый, усмехнувшись, перестал меня подталкивать ко входу на площадку.

Среди топчущихся... Нет – среди танцующих я заметила красивого парнишку. Несколько девочек крутились подле него, обращая на себя его внимание, но он почему-то всё время оглядывался в мою сторону, а когда музыка стихла, направился прямо ко мне, и спросил:

– Пойдёшь со мной?

Я смутилась от неожиданности и губы, минуя сознание, произнесли:

– Не будучи представленным?!

Парнишка явно не ожидал отказа, а такого – тем более. Обзови я его дураком, он бы понял, ещё бы и посмеялся. Теперь же, стоя рядом, он молча плавился от стыда, и не мог вернуться к танцующим.

Надо ли говорить, что меня больше никто, ни разу не пригласил на танец. Не в том пионерском лагере, а вообще никогда, в течение всей жизни после. Думаю, вальсировать я давно разучилась, потоптаться не довелось, так что скорее всего я опять сказала бы «Нет!», но всё же, всё же, всё же. Очень жаль.

...Муха явно была «под мухой». Выплясывая гопака подле оконного стекла, она гудела и плевала слюной, пачкая недавно вымытое окошко. Мухе не нужна была пара. Мухе было хорошо и одной.

Не потому...

Ветер долго, вдумчиво натягивал лук ветвей, а потом отпускал резко и с наигранным прищуром бывалого охотника следил, куда вонзились видимые ему одному стрелы. Уверенности, как и пуха с перьями не было, но по всему выходило, что попадали они всякий раз куда надо, ибо ветер вновь брался гнуть ветви, скрывая самодовольную улыбку.

– Тебе не надоело? – Беззлобно, но решительно поинтересовалось солнце у ветра.

Тот вздрогнул от неожиданности и отпустил тетиву. Незаправленная стрелой, она тут же обрела привычный вид, и принялась прихорашиваться, прилаживая на прежнее место вуалетку паутины булавками сосновых иголок, позаимствованных для такого случая у соседки.

Солнечные зайчики, на которых, судя по всему и охотился ветер, бросили прятаться. Они проступили на щеках леса, как веснушки, и стали скакать, ровно также, как это делают резвые пушистые лопухие о четырёх ногах.

Олень было принялся гоняться за солнечными зайчиками, перепрыгивая лесную тропинку из-за дерева к кусту и

обратно, но так никоторого и не догнал. Впрочем, судя по его влажному взгляду, бегал олень не для того, дабы изловить, а веселья ради.

Лист клёна, раскинув крылья, опустился на крышу. Он без зависти, но с интересом следил за вознёй в лесу, а после проводил взглядом ворона, что нырнул слёту в пышную перину облака. Так казалось самой птице.

Но со стороны было отлично видно, что в самом деле облака чересчур высоко, и до них возможно дотянуться только сердцем. Как до солнечных зайчиков, что не терпят прикосновения и небрежности. А уж стрелять по ним, словно по воробьям, – большого ума не надь, да и меткости, впрочем. Не затем их солнышко множит в погожий день, не потому...

Краски леса...

Гжель осеннего леса глядится празднично даже в пасмурный день. Притомившееся за лето солнце всё реже кажет миру свой зардевшийся лик, да и, коли по-правде, заметно побавилось того румянца. Бледнеют щёки, и по всему видать – не дождётся никак солнце, когда уж почивать на кипельно-белых простынях снега в тишине и с приоткрытым оконцем, для свободного хода свежести морозной.

Золочёная листопадом дорожная колея стекает ручьём за горизонт. В обмякшую после третьего утренника²¹, податливую оправу чистотела, вправлены не дешёвые глупые стёклышки, но мелкие алмазы росы.

Разодетая до белья крапива потеряла большую долю склочности, а с нею вместе и привлекательность. Раньше, бывало, куда ни ступи, как ни берегись, – всюду перебранка, да следующий за тем немалый ожог. А нынче – хотя мни её, хотя гладь, будто и не крапива вовсе. Охочая до ссор, она теперь почти что сор. Ещё одно морозное утро, и всё, поминай, как звали.

Кисточка чертополоха, набравшая перламутра воды, заду-

²¹ утренний мороз до восхода солнца, бывающий весной и осенью

малась над мольбертом округи, не решается никак сделать первый мазок, не то, что осень, которая давно уж рисует свои портреты и дарит ими всякого проходящего.

Где-то невдалеке прошёл олень, и хотя не явно, да ясно то из махнувшего ему вослед золотого листа, и скоро стынущего, примятого матраца травы со вплетенной в него для тепла и мягкости шерстью.

Лес весь в заплатах листвы, небо – в латках облаков, и скрипит оно, будто калиткой на ветру: мерно и часто. То ворон, присматриваясь к земле, взывает пронзительно и клочечет нежно, дабы расслышала его подруга жизни, что осталась нынче в гнезде по причине всегдашнего дамского недуга – головной боли.

Краски леса... Всё в красках.

Неким осенним утром...

Неким осенним утром, сидя у окошка два приятеля коротали время до обеда за приятной беседой. Им обоим было несколько за пятьдесят. По нашему разумению, ещё мальчишки, а в те года, о которых речь – вполне себе зрелые мужи...

– Как не восторгаться послелетием! Его немислимым по богатству убранством, блеском и сиянием...

– Вы, батенька, так наивны и милы в своём исступлении, что как дитя, право. Коли приглядеться – всё в одном цвете, так только, полутона с оттенками, не больше. По-бедности или по понятию, а ущербно. Касаемо же одежд из гобеленов и парчи... Тризнице так же вот источает великолепиие, а всё – тлен. Да и осенью, как не рядись, – всё увядание.

– Вот же не совестно вам, не то говорить – рассуждать эдак! Осень, быть может, напротив, – приготовление к таинству новой жизни, как зарождающееся её намерение быть.

– Да как же это?! Все прячутся, всё пустеет. Лес теперь недолго разодет, да наряжен, ещё пара-тройка ветров с дождями, и окажется простоволос, жалок, как...

– Как кто?!

– Как бедный родственник! По крови его не оставишь, ну

и по-совести, но глядеть неловко, словно не ему одолжение делаешь, а себя срамишь. От поляны до поляны всё его лянлое, латанное ветхое рубище насквозь видать, выпирают худые ключицы ветвей, повсюду пеньки истёртыми зубьями, да копны наметённого ветром мокрого тряпья негодной ни на что листвы.

– Вас послушать, как гороху накушаться. А только и в этом всё отыщется нечто, которому в иной час будешь рад.

– Это ж в который, позвольте? Когда из экипажа до крыльца двух шагов не сделаешь, чтобы не промочить насквозь плаща?

– Каждому в осени дано увидеть своё, что ему ближе. Мне она празднество нежной сини небосвода с раскинувшимся в истоме ястребом, что парит выОко. Или неглубокая чаша реки, когда сквозь мытое стекло воды видно с берега стайки рыб. Смотришь на них и едва не рыдаешь, – переливаются ртутью промеж пальцев водорослей, что шевелятся, перебирая пальцами по течению реки.

– Это всё так, не спору, но куда вы денете слякоть, сырость, неизбежное после нездоровье.

– Так на то к осени и приготовлена калина и здоровый полынный дух, недаром полынные веники по всё лето сушат по стенам, дабы хватило на все хворобы²². Да и вообще, ба-

²² резонансная частота сжигаемой полыни равна резонансной частоте здорово-

тенька, ищите во всём то, что доставляет удовольствие. Ибо, справедливости ради, коли когда глядите вы на своего жеребца, который кремовой²³ масти, в ваше масляное выражение впору блинцы обмакивать. Вы ж тогда статью его любуетесь а не про навоз воображаете. А лошади без навозу не бывает.

Покуда приятели рассуждали, голубоватый хрусталь небес наполнился мучнистым студнем туч, и принялся сочитаться он на округу, обращая в тот самый кисель всякую, не прихваченную сетью травы стёжку. Осень была в своём праве, – казнить хмарью и слякотью, либо дарить красотами, что кружит голову всякому, кто мнит себя поэтом.

го человеческого организма

²³ изабелловая масть, ахалтекинская порода лошадей

СЛУЖИВЫЙ

За окном грузной поступью топчется дождь. Кажется, будто он марширует на месте, высоко поднимая круглые, припухшие от ревматизма колени. «Раз-два, раз-два...» От сырой земли вздымаются хрустальными венцами фонтаны воды.... Знобко²⁴! И чего не уходит? Кого ждёт? Если выйти к нему ненадолго, – промокнешь, простынешь. Неужто ему непременно надобно свидеться? Ну, а коли нет, то почто не уходит тогда? Совестно сидеть в тепле, когда мёрзнут у твоего порога. Кто? Да хотя кто! Со ступеней погнать – дело нехитрое, от сердца прогони, испытай себя на добро.

Нечто глянуть, что там? Утомился, поди, сердцеШный, двор-то с грязью мешать. Разве, зазвать в дом? Предложить снять длинную до пят брезентовую плащ-палатку, повесить у печки, помочь стянуть сапоги и размотать сырые наполовину портянки. Тряпица просохнет и так, а сапоги набить бумагой для растопки, что кстати выпрошена давеча у почтальона.

И предложив гостю прикрыть озябшие плечи тёплым платком, подвести к столу, а там уж, за горячим чаем с калиной, уважить расспросом, да узнать, откуда он сам и как дав-

²⁴ знобкий, ощущение озноба

но, кто родители, холост, либо женат, есть ли дети, – всё как полагается. Ну, коли с охотой ответит, то и хорошо, а нет, так не бередить душу понапрасну, но попросту поведать о своём, житейском, – про то, что вишен в этом году не уродилось из-за ветра, калины по причине холодных дождей, супротив прошлого, меньше аж вдвое.

На крайний случай и помолчать можно, оно тоже ничего, ежели в тепле, да под всполохи огня в печи... Глядишь, и задремлет тот негаданный, некстати гость.

Переминается с ноги на ногу дождь, мёрзнет, а всё не решается войти... Надолго ли к нам, служивый, али насо-всем?..

Всё сходится...

Мы не видались довольно давно, и поэтому, когда он окликнул меня однажды, я не сразу узнал в нём своего старинного приятеля. Заговорив со мною запросто, будто мы расстались накануне, он принялся вспоминать о минувшем таким молодым, свежим голосом, что мне пришлось сдерживать в себе чувство досады, что произошло не из нежелания добра приятелю, а по собственной моей слабости.

– Не обижайся, но ты никогда не сможешь меня понять. Тот, кто не бывал в стройотряде, не окунулся в атмосферу быта и работы там...

– Ущербный человек?

– Ну, не так категорично, но в общем...

– 1975 год. Нас, студентов МГУ, доставили до места, в посёлок Светлый. Хотя... не был он никаким светлым. Ну, деревьев маловато, потому, как вырубил часть тайги под постройки, и посёлок был каким-то прозрачным, что ли. В общем, условно оправдывал своё название. А так – обычный хрущёбный посёлок для строителей ГЭС, что перегородили речку Зею длиннющей высоченной плотиной, не знаю, есть она ещё, либо нет...

– Она до сих пор обеспечивает Якутию электричеством и теплом.

– Ну, вот, видишь. Не зря, значит.

На первых порах мы занимались благоустройством посёлка. А точнее – вычищали траншею от нечистот и мусора, который накидали туда Зее ГЭС строители. Им же там было «не жить», а нам, приехавшим в Светлый на лето, юношеский максимализм не позволял оставить всё, как есть, и с одними лопатами в руках, мы трудились, преобразая это место. Даже носилки пришлось мастерить самим.

Старожилы, а точнее – матёрые строители, относились к нам с изрядной долей пренебрежения. За что? За младость, за студенчество, за трезвость, за равнодушие, за работу без выходных, за очевидное стремление участвовать в жизни страны. Мы не давали себе отдыха, но не в погоне за длинным стройотрядовским рублём. Жаль было тратить жизни на безделие. Единственно – второе воскресенье августа²⁵ отпраздновали по-студенчески, – с песнями под гитару у костра.

Невзирая на чрезмерную самоуверенность Зее ГЭС строителей, не им, а именно нам удалось справиться с трубой в два человеческих роста под дорогой. Её установили, чтоб не размыло путь половодьем, да не держалась она никак, «плыла». И мы с нашим прокуренным до мозга костей инженером Володей Обоевым придумали опалубку, да укрепили эту

²⁵ День строителя

трубу, как следует, и верили, что это на века.

– Ну вы, студенты, ну вы даёте... – Качали головой строители, но больше уважать не стали. Так повелось...

А с Гришей Якутовским, что некогда трудился над оперой «Хабаровщина», известным ныне миру городским шаманом Всеславом Святозаром, ставили наперегонки полосатые столбики ограждения. Зарывая их на метр глубиной в землю, выставляли по астробии, подобной той, которой некогда так бойко, аж за трёшку, расторговался сын турецко-подданного²⁶.

... Мой старинный товарищ говорил, говорил, воспоминания нагромождались друг на друга непроходимыми торосами, а я думал о том, что на письмах, которые писала моя мама своей, когда строила на Алтае по Комсомольской путёвке узкоколейку, значился адрес «Переулочек Светлый...» Так вот что это за место на земле, в память о котором был назван некогда безымянный проезд между домами.

В жизни всё сходится, – события, случайности, люди и города... При наличии доброй воли, и вне её, – сходится всё.

²⁶ Герой романа И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» Остап Бендер

Прогулка

Не сказать, что я был охотником прогулок в вечерних сумерках осени, когда главным из впечатлений от округи оказывается послевкусие сырости, но дабы не прослыть праздным или преждевременно состарившимся, я порой предпринимал попытки пройтись вдоль железной дороги.

Моя любовь к путешествиям заканчивалась разговорами об них, а посему я с интересом заглядывал в освещённые вагоны, урывками разделяя с проезжающими их хлопоты, тревоги и прочие понятные всякому вояжёру чувства. Нарочно незадёрнутая занавеска купе, подчас, дарила меньшей радостью, чем скрывающая большую часть временного уюта. В такт шагам можно было напридумывать себе всё, что угодно, и я часто пользовался этим, дабы развлечься хотя чем в нашей глуши.

Но тем вечером, о котором речь, поезд в направлении столицы запаздывал, и я мерил известную тропинку вдоль железнодорожных путей, хотя неспешным шагом, но вместе с тем уверенно бодро, ибо неизменный сквозной ветер, сопутствующий колее, недвусмысленно толкал в спину, понукая поторопиться.

Ещё не звенели натянутой струной рельсы, как я заметил его. Клубком серой шерсти он катился в направлении путей.

То был ёж. Белый его галстух выглядывал из-за распахнутого ворота, запыхавшись, он со вкусом, будто на чересчур горячий чай, отдувался в темноту, моё же появление заставило его сперва замедлить шаг, а звуки голоса и вовсе принудили остановиться.

– Какая встреча! Малыш! Доброго тебе вечера! – Поприветствовал я ежа насколько мог ласково, и тот без какого-либо опасения приготовился выслушать всё, что я ему скажу.

Разделив с милым зверьком считанные мгновения восторгами насчёт всё более густеющих сумерек, я повернул назад к дому, чем неволью напугал ежа, отчего он развернулся в сторону кустов, из которых вышел, и удалился, бойко загребая лапами промокший до мышинных нор пригорок.

И тут же, почти сразу же, не предваря своё появление ничем, кроме яркого света, из темноты выдвинулся паровоз. Спящие и любопытствующие, пьющие чай и закусывающие проезжающие на этот раз обошлись без моего сочувствия. Ибо в эту минуту я думал только о том, что окажись подле тех кустов позже, не перемени из-за меня ёж своё намерение идти в сторону путей, не бывать бы ему. Слишком высоки рельсы и коротки ножки, куда как короче, чем его недолгий век²⁷...

²⁷ в природе ежи живут до 5 лет, в неволе в два раза дольше

Никогда не знаешь, чем закончится твой очередной день, случится ли следующий, но в тот вечер я был доволен собой. Быть причиной хорошего дела, даже не желая того, куда лучше, чем оказаться виноватым.

Истина в...

– In Vino Veritas²⁸!

– Истина в вине, говорите? Вы про причину проступка или питье, как сыворотку правды?

– Игра слов-с...

– Так у нас всё – игра...

Осенняя хмарь водила дружбу с ночью и сумерками, а по-сему, хотя уже светало, об том нельзя было понять наверняка. Впрочем, наполненная догадками, неожиданными подарками и внезапными радостями жизнь шла-таки своим чередом, и утро, наивное и прелестное в своей безыскусной простоте, под нежное шуршание погремушек рогоза играло на свирели полых трав сжатыми неплотно губами берегов рек.

Мелодия утра всегда одна и та же, всякий раз иная, похожая и другая, подбиралась наугад, по наитию, в такт биению сердца и с надеждами на лучшее, что не сбываются никогда. Сверяясь с теми, кто ещё жив, утро не пропускало ничего, даже самой малости, одного лишь намёка на дыхание. Точно так прислушиваются к окружающему миру младенцы, а трогая клавиши рояля, радуются навстречу звучанию или горько и безутешно плачут.

²⁸ лат. Истина в вине. Пьяный глаголет истину...

Отдавая весь свой пыл всему округ, за шорами тумана округе было видно лишь то, что совсем близко, у самых её ног. Ровный обрез кленового листа, мокрую насквозь песчаную тропинку, больше похожую на облизанный волной берег во время отлива.

Лишённые отражения облаков, безликие чёрные озёра луж чудились бездонными. Ступить в них казалось равносильно падению в пропасть, но дно их, противу ожидания, оказывалось довольно мелко, а пропасть могла лишь обувь, да подол одежд.

И ввечеру – под вой ветра, вплетённый лентой в волчью песнь, когда листва торопится позёмкой в никуда, а тени деревьев на занавеси мутного неба представляются серым дымом из труб, хмарь уступает ночи старшинство, признавая её несомненное право скрывать от небес всё, что творится на земле.

Не вопреки преданию, но в подтверждение ему, всякое тайное становится явным²⁹, да только чаще всего в пустой след, когда уже всё равно, и давно уж нет тех, кого бы это откровение ободрило или вывело из себя. Однако в эту истину, как и в любую другую, верится с трудом.

²⁹ Евангелие от Марка (гл. 4, ст. 22) и от Луки (гл. 8, ст. 17) : «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы»

Вечер середины сентября...

Был тёплый вечер середины сентября. Осень неважно выполняла свои обязанности, и вместо того чтобы приготовить природу к возвращению зимы, с упорством недоросля напоминала об ушедшем лете. Так что на дворе стояла не просто тёплая, а даже немного жаркая погода, и окна в домах, особенно кухонные, оказались по большей части распахнуты, посему с улицы были хорошо видны занятия жильцов. А заняты они были приготовлением нехитрой, на скорую руку, снеди. Промывание макарон после варки холодной водой, отчего-то именно запомнилось лучше всего.

Макароны ели так или жарили на сковородке до хрустящей корочки, иногда их раздвигали в нескольких местах, делая нечто наподобие гнёзд, и вбивали туда яйца. Кто-то раскладывал непослушные, вертлявые макароны по тарелкам, иные ставили сковородку на разделочную доску прямо посреди стола, и всё семейство тянулось за кушаньем, неизменно роняя по дороге малую толику на стол.

– Над хлебом, над хлебом держите! – Приказывала иногда хозяйка детям. – После вас хоть курицу на стол запускай, голодной не останется!

– Слушаться мать! – Кивал, поддерживая супругу отец, с

хрустом откусывая от солёного огурца или закидывая приличный стожок квашеной капусты в рот...

Точно также было по всех квартирах любого из домов.

А мы с отцом, по причине всё той же необычно прекрасной погоды, вышли из трамвая за несколько остановок до дома, чтобы после вечерней тренировки пройтись пешком. Отец молчал, думая, как обыкновенно, про своё важное, а я болтал о малозначительной, утомляющей слух и сознание чепухе.

И когда основательно надоел отцу, он подвёл меня к одному из распахнутых окон на первом этаже барака, где ужинало семейство. Дружно, но не замечая друг друга, едоки склонились над столом. На порезанную местами клеёнку капало и с приборов, и изо рта, но на это никто не обращал внимания.

– Доброго вечера! Приятного аппетита! – Обратился отец к жующим, а потом повернулся ко мне, – Ты... Ты хочешь вот также вот?

Несмотря на то, что я был юн, вечно голоден, и не глядя проглотил бы как пустые макароны, голенькими, так и с добавкой растекающегося по зажаристым кусочкам желтка, я совершенно чётко понял, что речь не о еде, и не на шутку испугался. Глядя на отца, я замотал головой. Нет, я не хо-

тел... так. Ни за что.

– Вот тогда и помолчи. – Кивнул отец в сторону окна. – Не мешай думать мне и побольше думай сам.

До дома оставалось всего ничего – две остановки, но они были самым длинным отрезком пути моего детства. Именно тогда я учился размышлять, взвешивать слова на весах значимости, ибо ветра, наполненного пустыми, зряшными фразами, было довольно и так. Они слетали с деревьев вместе с листвой, и падали на землю, где смешиваясь со слякотью, превращались в ничто...